

МАРК АЛДАНОВ

# ЧЕРТОВ МОСТ



Мыслитель

Марк Алданов

**Чертов мост (сборник)**

«ВЕЧЕ»

**Алданов М. А.**

Чертов мост (сборник) / М. А. Алданов — «ВЕЧЕ»,  
— (Мыслитель)

ISBN 5-9533-1636-4

Марк Александрович Алданов (1886–1957) родился в Киеве. В 1919 году эмигрировал во Францию, где работал инженером-химиком. Широкую известность принесли ему изданные в Берлине в 1923–1927 годах исторические романы «Девятое термидора», «Чертов мост», «Заговор», «Святая Елена, маленький остров», в которых отражены события русской и европейской истории конца XVIII – начала XIX веков. Роман «Девятое термидора» посвящен, собственно, одному событию – свержению диктатуры якобинцев и гибели их лидера Максимилиана Робеспьера в 1801 году. Автор нашел очень изящное объяснение загадки смерти французского диктатора. Роман «Чертов мост» рассказывает о героическом переходе русской армии через Альпы после вынужденного отступления из Северной Италии. Под руководством гениального полководца Александра Васильевича Суворова русские не только совершили этот беспримерный поход, но и способствовали возникновению нового государства в Европе – Швейцарской федерации.

ISBN 5-9533-1636-4

© Алданов М. А.

© ВЕЧЕ

## Содержание

От составителя	5
ДЕВЯТОЕ ТЕРМИДОРА	6
Пролог	6
Часть первая	12
1	12
2	14
3	18
4	22
5	23
6	27
7	31
8	36
9	41
10	45
11	49
12	53
13	59
14	64
15	68
16	72
17	78
18	82
19	86
Конец ознакомительного фрагмента.	90

# Марк Александрович Алданов

## Чертов мост

### От составителя

В этом томе объединены два романа известного русского писателя-эмигранта Марка Александровича Алданова. Алданов – псевдоним, являющийся анаграммой его настоящей фамилии – Ландау. Романы «Девятое термидора» и «Чертов мост» оба посвящены коллизиям большой европейской политики конца XVIII века. Среди действующих лиц мы встретим Екатерину Великую и Павла Первого, Максимилиана Робеспьера и Мориса Талейрана, Александра Васильевича Суворова и Федора Федоровича Ушакова и многих других. Одним словом, перед читателем в процессе чтения сама собой вырастает величественная и одновременно тщательно прописанная в деталях картина той величественной эпохи.

Творческий метод Алданова заключается в том, что автор, введя в повествование известных исторических персонажей, «дает изображение» через восприятие самого простого человека, молодого дворянина по имени Штааль. По писательской воле Алданова он оказывается в гуще самых драматических событий, является их вольным ли невольным свидетелем. Это дает автору особые возможности, которых лишен профессиональный историк.

Смысловым и композиционным центром романа «Девятое термидора» является мартовский переворот 1801 года, в результате которого был свергнут Максимилиан Робеспьер и диктатура якобинцев. Среди профессиональных историков до сих пор бытуют два мнения относительно того, как именно погиб Робеспьер. Одни считают, что его убили, другие – что он покончил с собой. Интересно, что и те и другие приводят в доказательство своей версии свидетельства очевидцев. Невольно вспомнишь поговорку: «Врет, как очевидец». Но как бы там ни было, обе точки зрения считаются авторитетными, и приняв одну, неизбежно отвергнешь другую. Алданов прибегает к следующему приему: его герой Штааль присутствует на историческом заседании Конвента, но поскольку оно длится очень долго, устает и засыпает и конкретный момент гибели диктатора остается им не увиденным. Таким образом, найден остроумный выход из положения: герой романа и участник события, и не свидетель его. Соблюдена интеллектуальная честь автора, при этом читателю дана возможность максимально близко подойти к подлинной сути описанного события, пережить его во всей полноте нюансов.

Главной линией романа «Чертов мост» является героический переход армии Александра Суворова через Альпы. После ряда блистательных побед одержанных русским гениальным полководцем в Италии над лучшими генералами Французской Республики, он вынужден, в результате интриг австрийских штабистов, спасти свою армию путем перехода из Италии в Швейцарию. И «союзники» и противники были уверены, что подобное невозможно, и заранее считали Суворова побежденным. Но, как известно, Суворов наоборот победил и не только преодолел альпийские перевалы, но и попутно основал новое государство – Швейцарскую федерацию. Для того чтобы оттенить беспримерность подвига русских чудо-богатырей, Алданов дает в параллельном описании ничтожную, переполненную корыстной суетой жизнь неаполитанского двора, и бегство его на кораблях английской эскадры при приближении французских войск.

Еще раз можно сказать, что два эти романа, «Девятое термидора» и «Чертов мост», дают отличную возможность увидеть в живых прозаических картинах Европу конца XVIII века.

*Михаил Попов*

## ДЕВЯТОЕ ТЕРМИДОРА

### Пролог

Молодому русскому Андрею Кучкову очень понравилась столица короля Филиппа-Августа. Париж был как будто поменьше и победнее, чем родной город Кучкова Киев, особенно до разорения киевской земли князем суздальским Андреем Боголюбским. Но в обеих столицах было что-то общее: или небо, светлое, изменчивое и многоцветное; или веселый нрав жителей; или окрестные зеленые холмы, – холмы Монмартрского аббатства и Печерского монастыря. Жить в Париже было много спокойнее, чем в Киеве. Не грозили французской столице ни половцы, ни печенеги, ни черные клобуки, ни исконные враги киевлян – суздальские и владимирские полчища. Правда, при нынешнем великом князе Святославе Всеволодовиче киевская земля несколько отдохнула от войн и набегов, но еще свежи были в памяти киевлян и тяжелая дань, наложенная на город Ярославом Изяславичем, дань, которую платили все: игумены, и попы, и чернецы, и черницы, и латина, и иудеи, и гости. Памятен был им и разгром Киева Андреем Боголюбским, когда были на всех людях стон и туга, скорбь неутешная и слезы непрестанные. Да и теперь каждый год могли нагрянуть и хан Гзак, и хан Кончак, окаянный безбожный и треклятый, и Ростиславичи Смоленские, а то и сам Всеволод Суздальский Большое Гнездо. В Париже об иноземных нашествиях давно забыли. Город рос, процветал и славился наукой: прогремели на весь мир, вплоть до русской земли, великие парижские ученые: Адам с Малого моста, Петр Пожиратель, Петр Певец и особенно славный Абельяр. Молодой Андрей Кучков душой был рад тому, что послал его князь Святослав Всеволодович в Парижский университет изучать латинскую мудрость: *trivium, quadrivium, physica, leges, decretum* и *sacra pagina*<sup>1</sup>.

В Париже у Андрея Кучкова был дальний родственник, дед которого уехал из Киева в свите Анны Ярославовны, дочери великого князя, вышедшей замуж за французского короля Генриха. Но родственник этот, славный воин и крестоносец, уже по-русски совсем не говорил. Принял он Андрея Кучкова радушно и в первые же дни показал ему столицу Франции. Показал *palatium insigne* – дворец Филиппа-Августа, раскинувшийся на самом берегу реки, на восточном углу парижского острова<sup>2</sup>. Андрею Кучкову понравились и укрепления дворца, и собственные королевские покои, густо выстланные мягкой соломой, на которой почивал любивший роскошь Филипп-Август, и пышная, расписная, с позолоченными сводами баня, где два раза в год – на Рождество и на Пасху – купалась французская королева. Понравились ему и подвальные помещения дворца, носившие название *Conciergerie*<sup>3</sup>.

Показал Андрею родственник также окраины города: болота правого берега реки Сены – там король собирался строить новый дворец Лувр, и виноградники левого берега – среди них на горе святой Женеьевы раскинулся славный Парижский университет. А затем воин повел Кучкова смотреть главное чудо столицы: Собор Божьей Матери, начатый постройкой не так давно архиепископом Морисом де Сюлли и уже почти готовый.

По дороге они остановились поглядеть на зрелище, не привычное для молодого киевлянина. На севере острова, на высоком, в человеческий рост, квадратном костре из хвороста и соломы жгли трех колдунов, одну ведьму, двух мусульман, двух иудеев и одного *кагота*.

---

<sup>1</sup> Тривиум (цикл из трех наук: грамматики, диалектики и риторики), квадравиум (цикл из четырех наук: арифметики, музыки, геометрии и астрономии), естествознание, юриспруденция, законоведение и Св. Писание (*лат.*).

<sup>2</sup> Нынешний Palais de Justice (Дворец правосудия). – *Автор*.

<sup>3</sup> Буквально: жилище привратника (*франц.*).

Андрею Кучкову это было хоть и страшно, но очень интересно: в Киеве никогда никого не жгли и даже вешали редко, а наказывали больше потоком, разграблением или простой денежной пеней. Воин объяснил молодому человеку, что наследство сожженных поступит в королевскую казну, и похвалил мудрую финансовую политику короля Филиппа-Августа, отец которого, покойный Людовик VII, отличался чрезмерной кротостью, всем иноверцам был рад, колдунов жечь не любил, а потому и оставил казну совершенно пустою. Андрей Кучков не согласился, однако, со взглядом своего родственника: князь Ярослав завещал киевской земле наставления другого рода.

Когда дувший с реки Сены ветерок развеял запах горелого мяса и серы, а палач, le tourmenteur jure du Roy<sup>4</sup>, стал рассыпать лопатой пепел в разные стороны, они пошли дальше. Андрей Кучков очень хотел увидеть Собор Божьей Матери, но и боялся немного, как бы этот собор не оказался лучше церкви Святой Софии, которую великий князь Ярослав воздвиг в Киеве на удивление миру. Оказалось, однако, что храмы совершенно друг на друга не похожи. Оба были на редкость хороши, только киевский светел и приветлив, а парижский угрюм и страшен: день и ночь. Андрей Кучков долго любовался великолепным Собором Божьей Матери. Затем вместе с воином и со знакомым воина, пожилым благодушным монахом, они пошли закусить в соседний кабачок.

В кабачке перед очагом сидел странный человек лет шестидесяти, в черном коротком костюме, со шпагой, но без кинжала, в высоких сапогах, но без длинных рыцарских носков, с усами, но без бороды, – рыцарь не рыцарь, но и не простой горожанин и не духовное лицо. Он потягивал вино и задумчиво смотрел на раскаленный вертел, на котором жарился лебедь. Лицо у него было странное, усталое, темно-желтое, а глаза серые, холодные и недобрые. Монах знал этого человека и шепнул спутникам, что по ремеслу он мастер-ваятель, происхождения же темного: едва ли не *convers*<sup>5</sup>, а впрочем, может быть, и не *convers*, но, во всяком случае, мастер весьма искусный и очень ученый человек. С ним любили, встретившись в кабачке, поговорить о серьезных предметах знаменитейшие доктора и реалистского и номиналистского толка.

Монах познакомил своих спутников с ваятелем, и они вместе уселись у очага. Воин сообщил, что молодой иностранец прибыл из далекой страны, откуда была родом покойная королева Анна. Ваятель слышал и читал об этой стране и об ее славной столице, которая в арабских рукописях именовалась Куяба и которую латинский путешественник назвал: *Chuve, aemula sceptri Constantinopolitani, c'laris-simum decus Graeciae*<sup>6</sup>. Андрей Кучков был очень польщен похвалой своему городу и, как мог, восторженно описал Киев, его красоту и богатство, тридцать церквей и семьсот часовен, митрополию святой Софии, и храм Богородицы Десятинной, и златоверхий Михайловский монастырь, и верхний город с воротами Золотыми, Лядскими и Жидовскими, и великий двор Ярославль, и торговый квартал Подолье, и зеленый Кловский холм за Крещатицким ручьем, и пышные сады над самой прекрасной в мире рекой. Ваятель и монах слушали с любопытством, хоть и не совсем понимали странное латинское произношение рассказчика с ударениями на «о». Воин между тем заказывал ужин, ибо время было позднее: четыре часа дня; парижане обедали утром часов в десять. Ужин был очень простой: три супа (в честь Святой Троицы) – из риса, из бураков и из миндального молока; шафранный пирог с яйцами, другой пирог с грибами, два блюда рыбы, морской и пресной, баранина под соусом из горчицы, жареный лебедь, два разных салата, шартрское пирожное пяти сортов и легкий десерт – *issue de table*<sup>7</sup>. Андрей Кучков нашел, что в Париже едят немного, но зато хорошо. Руками ели только рыбу, мясо и сладкое, а к супам были поданы ложки, бывшие в ту пору

---

<sup>4</sup> Присяжный королевский мучитель (*франц.*).

<sup>5</sup> Иудей, принявший христианскую веру. – *Автор.*

<sup>6</sup> Киев, соперник царственного Константинополя, красоты и гордости Греции (*лат.*).

<sup>7</sup> Завершение трапезы (*франц.*).

новинкой. Хозяин принес несколько бутылок: предложил гостям и местное парижское вино, и греческое, и сладкий напиток Святой земли.

После первого же блюда монах, обращаясь к скульптору, начал для приличия ученый разговор, коснулся *prin-cipia essendi* и *principia cognoscendi*<sup>8</sup>, процитировал Иоганна Стота Эригену, святого Ансельма и Бернарда Шартрского. Андрей Кучков слушал с благоговением, воин – с испугом, а ваятель – с усмешкой.

– *Mundus pec invalida senectute decrepitis, pec supremo obitu dissolvendus, exemplari suo aeterno aeternatur*<sup>9</sup>, – закончил убежденно монах.

Ваятель не ударил в грязь лицом и на цитаты ответил цитатами. Он в учении номиналистов видел меньше заблуждений, чем в доктрине реалистов, и ставил Росцеллина Компьенского выше тех авторов, на которых ссылался монах. Но, впрочем, Росцеллина также ценил не слишком высоко и утверждал, что от споров великих учителей у него болит голова и рождаются странные сны. Говорит загадочно Соломон Премудрый: *Multas curas sequuntur somnia, et in multis sermonibus invenietur stultitia*<sup>10</sup>.

Воин, которому надоели латинские цитаты, перевел разговор на темы военно-политические. С востока пришло недавно сенсационное известие: в Дамаске скоропостижно скончался великий мусульманский герой, знаменитый полководец, султан Юзуф бен-Айуб Салах-Эддин, в Европе именовавшийся Саладином.

– Десница Господня поразила этого неверного! – сказал, разливая вино по кружкам, монах. – Не будь его, нам, а не мусульманам, принадлежала бы теперь Святая земля. Над нашим правым делом восторжествовала его грубая сила.

Ваятель с усмешкой осушил кружку. Но воин, сам принимавший участие в Третьем крестовом походе, ударил рукой по столу и воскликнул, что хоть Саладин и неверный, и будет жариться в аду, но другого такого молодца не сыскать в целом мире.

– Нет у нас равного ему по доблести и по военному искусству, – горячо заметил он и с беспристрастием старого солдата принялся рассказывать чудеса о подвигах Саладина, который объединил под своей властью Сирию, Аравию, Месопотамию, Египет и хотел завоевать Константинополь, Италию, Францию, весь мир.

– Хотел завоевать весь мир, – повторил скульптор. – *Quid est quod tuit? ipsum quod futurum est...*<sup>11</sup> Александр и Цезарь тоже хотели...

– И завоевали! – воскликнул воин.

– Почти. Не совсем, – поправил ваятель.

Монах вздохнул и рассказал, что Саладин на одре смерти велел эмирам пронести по улицам Дамаска кусок черного сукна и при этом кричать в назидание мусульманам: «Вот все, что уносит с собой в землю повелитель мира Саладин!»

Воин, человек пожилой, задумался. А молодой Кучков, утомленный молчанием, рассказал о том, как в их краях один могущественный князь, Андрей Боголюбский, человек скверный и жестокий, но весьма искусный в ратном деле, тоже хотел подчинить себе мир и действительно объединил русские земли: разорил и унизил Киев, подчинил себе смоленских, черниговских, волынских, полоцких, новгородских, рязанских, муромских князей.

– А как кончил этот скифский Цезарь? – спросил с любопытством ваятель.

– Его убили, – с радостью ответил Андрей. – Прогневил он Бога своей крутостью, и невтерпеж стало людям сносить его власть. Двадцать человек ворвалось к нему темной ночью.

<sup>8</sup> Первопричина бытия и первопричина познания (*лат.*).

<sup>9</sup> Мир, бессильный от старческого одряхления и близкий к гибели, увековечивает свой вечный образец (*лат.*).

<sup>10</sup> «... Как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов (*лат.*). – Екклесиаст. 5:2.

<sup>11</sup> Сколько таких было? И сколько таких еще будет... (*лат.*)

Князь бросился было к мечу, да ключник Амбал с вечера утащил княжеский меч из опочивальни, и убил Андрея Боголюбского мой родич Яким Кучков.

Ваятель негромко рассмеялся.

– Есть на Востоке поговорка, – сказал он. – Пошла овца добывать рога, вернулась без рогов и без ушей. *Multas suras sequuntur somnia... Quid est quod fuit? ipsum quod futurum est.* Воображение Творца велико, но не бесконечно. Бесконечна в мире только человеческая глупость. *Et aludavi magis mortuos, quam viventes et feliciorem utroque judicavi, qui necdum natus est, nec vidit mala quae sub sole fiunt*<sup>12</sup>.

Он вынул из кармана небольшую склянку и стал отсчитывать капли в стакан с водой. Затем размешал и выпил.

– Верно, ты это пьешь отраву, мрачный ученик Соломона Премудрого? – пошутил монах, с любопытством глядя на склянку.

– Нет, это капли жизни *джулах*. Я вычитал их состав в книге «Крабадин» мудрого врача Сабура-бен-Сахема.

– В наши годы полезно лечиться, – сказал одобрительно монах. – Я сам лечусь, как умею: *conjuratationibus, por tionibus, verbis, herbis et lapidibus*<sup>13</sup>. Говорят, будто восточные врачи знают такие капли, от которых сбываются человеческие желания.

– А ты чего же хочешь?

– Я? – переспросил монах и ненадолго задумался. – Хочу дожить до того дня, когда будет сломлена сила неверных, и вернется к нам навеки Святая земля, и во всем мире восторжествует наша великая церковь. Хочу сравняться благочестием с благочестивейшими. Хочу, вслед за мудрыми учителями, опровергнуть в ученой книге печальные заблуждения номиналистов.

– А я хочу, – сказал воин, – жить долго, пока руки способны держать меч. Хочу превзойти храбростью Конрада Монферра. Хочу на турнире выбить копьём из седла Ричарда Львиное Сердце. Хочу, чтобы вслед за славной жизнью послал мне Господь честную смерть в бою с сарацинами за святое, правое дело.

– А я хочу, – воскликнул Андрей Кучков, выпивший много греческого вина, – я хочу сначала постигнуть вашу латинскую мудрость: *trivium, quadrivium, physica, leges, decretum* и *sacra pagina*. Хочу затмить ученостью знаменитейших ваших учителей. Хочу также на турнире победить тебя, воин, после того, как ты выбьешь из седла Ричарда Львиное Сердце. А затем хочу сложить свою славу к ногам светлокудрой девы, что живет над рекой Борисфеном в тереме купца Коснячка.

– Вот это так, – сказал воин, засмеявшись, и налил юноше и себе по полной кружке греческого вина. – Ну а ты, мастер?

– Я ничего не хочу, – ответил медленно ваятель. – В молодости я имел много желаний, гораздо больше, чем ты, юноша. Год тому назад у меня оставалось только одно: закончить статую, творение всей моей жизни. На прошлой неделе я в последний раз прикоснулся к ней резцом. Теперь я ничего больше не хочу.

– Где же эта статуя? – спросили в один голос монах, воин и Андрей Кучков.

Ваятель открыл окно и показал рукой на вершину Собора Божьей Матери.

– Там! – произнес он проникновенно.

– Вот ты повел бы нас посмотреть ее, – заметил монах из вежливости: ему не слишком хотелось после плотного ужина подниматься по крутой лестнице церкви. Спутники монаха немедленно присоединились к просьбе. Ваятель кивнул головой. Воин подозвал хозяина и стал расплачиваться.

---

<sup>12</sup> И ублажал мертвых... более живых... а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем (*лат.*). – Екклесиаст. 4:2–3.

<sup>13</sup> Заговоры, микстуры, заклинания, травы и камешки (*лат.*).

– Слава тебе, великий мастер, – сказал монах, – что данный тебе от Бога талант ты употребляешь на столь благочестивое дело. Зато будет вечно жить в потомстве твое имя. Ибо вечен Собор Божьей Матери.

– Своего имени я не вырезал на статуе, – произнес медленно ваятель. – Его забудут на следующий день после моей смерти.

– Отчего же? – заметил укоризненно монах. – Дивясь твоему произведению, люди будут спрашивать: почему неизвестно нам имя благочестивого мастера?

– Нет, – сказал ваятель с живостью. – Кто увидит мою статую, тот этого не спросит.

Воин спрятал сдачу. Они вышли из кабака и перешли через площадь, направляясь к собору. У двери, ведущей на лестницу башен, сидела на тумбе дряхлая нищая старуха. Шамкая беззубым ртом, она бормотала дребезжащим голосом какую-то песенку. Лицо и платье древней старухи были одинакового серого цвета, цвета камней церкви. Ваятель остановился возле нее. Старуха бормотала:

Pur kei nus laissum damagier?  
Metum nus tors de lor dangier;  
Nus sumes homes cum il sunt;  
Tex membres avum cum il ont,  
Et allresi grans cors avum,  
Et altretant sotrir poum,  
Ne nus taut tors cuer sulement,  
Alium nus par serement...<sup>14</sup>

Ваятель с усмешкой глядел на старуху. Вдруг в его глазах проскользнул ужас. Он быстро вошел в боковую дверь церкви. По узкой винтовой лестнице, со ступеньками, расширяющимися к одному краю, держась рукой за тонкий железный прут перил, они стали подниматься к башням. Ваятель шел впереди, ступая тяжело и уверенно. Винтовой ход то светлел при приближении к бойнице, то снова темнел и становился страшен. На светлой площадке они перевели дух.

– Высоко же ты работаешь, мастер, – сказал монах, вытирая лоб рукавом рясы.

– Зато близко к небесам, – ответил ваятель. Голос его звучал в каменной трубе глухо. Они медленно двинулись дальше, прошли темный круг без окна и вышли на галерею. Их ослепило солнце. Андрей Кучков вскрикнул от восторга. Под ним был парижский остров. За рекой виднелась зелень виноградников и золото хлебных полей.

Ваятель подошел к перилам галереи. На них что-то было покрыто холстом.

– Покажи, покажи свое творение! – сказал, тяжело дыша, монах.

Кусок серого холста упал.

На перилах сидело каменное чудовище.

Монах, рыцарь и Кучков долго смотрели на него, не говоря ни слова.

– Уж очень он страшный, – сказал наконец Андрей.

– Да это что ж такое: зверь рогатый и горбоносый? – спросил с недоумением рыцарь, не сводя глаз со статуи.

– Мыслитель, – ответил медленно ваятель. – Дьявол-мыслитель...

– Помилуй! – воскликнул монах. – Да что ж дьяволу делать в таком месте? Побойся Бога!

---

<sup>14</sup> Песня нищей заимствована из «Le Roman de Rou» нормандского поэта XII столетия Робера Васа; ее транскрипция на современный французский язык находится в последней главе «Девятого Термидора». – Автор. Доколе есмы сущими в розни? Пора презрети ужасны козни. Вышняя воля нам подала Те же руци, нози и тела. Пребываем с иными в равной красе, Такжежде страждем ныне, как все, Донележе сердцу не дано Бысть с иными сердцами, будто одно... Перевод со старофранцузского Е. Витковского

Ваятель не слышал, по-видимому, слов своих спутников.

– Нет, брат, это ты напрасно изваял, – сказал с укором монах, – это насмешка и грех.

– Не насмешка, – ответил глухо ваятель. – Я не стал бы смеяться над самим собою...

– Какой страшный! – повторил Кучков. – Губа, как у лютого зверя. А глаза-то!.. И язык высунул от удовольствия... Чему он радуется?

Молодой русский посмотрел в ту сторону, куда был устремлен бездушный взор дьявола. На противоположном конце острова сустились люди: там разбирали остатки костра.

– Грех, грех, брат, – повторил укоризненно монах. – Добрый католик не создал бы такой статуи. Напрасно умудрил тебя Господь, послав тебе талант и науку.

Ваятель не отвечал ни слова.

## Часть первая

### 1

В начале 1793 года был послан генерал-лейтенантом Зоричем из его Шкловского имения в Петербург с важной миссией один очень молодой человек по имени Штааль.

Граф Семен Гаврилович Зорич, отставной фаворит Екатерины, был серб по происхождению. Настоящая фамилия его была Неранчичев. Усыновленный своим дядей, Максимом Федоровичем Зоричем, переселившимся из Сербии в Россию, он в рядах русской армии храбро сражался в Семилетнюю и в Турецкую войны. Под Рябой Могилой его взяли в плен турки, увезли в Константинополь и там заключили в Иеди-Куле, или Семибашенный замок. Много испытаний выпало на долю Зорича в его бурной молодости, – в Сербии, в походах, в каторжном турецком плену. Выпущенный на свободу и награжденный, один из первых, Георгиевским крестом, он как-то случайно попался на глаза Потемкину, который обратил внимание на необычайную красоту молодого серба. В то время князь Григорий Александрович уже не занимал должности фаворита императрицы. Его заместителем на этом посту был Завадовский. Потемкин очень не любил своих преемников, пытавшихся, по его примеру, заниматься государственными делами. При виде Зорича у князя – внезапно, как всегда, – явилась понравившаяся ему мысль: выдвинуть на первый в Российской империи пост кандидатуру молодого сербского офицера. Немедленно было сделано все необходимое, посланы соответствующие инструкции графине Брюс, – и очень скоро Семен Гаврилович Зорич стал официальным фаворитом императрицы Екатерины, в промежутке времени между бывшим театральным суфлером Завадовским и отставным польским тенором Корсаком. На него посыпались отличия. В день коронации Зорич был награжден чином генерал-майора и произведен в корнеты кавалергардского корпуса; затем получил украшенную бриллиантами звезду, аксельбанты, саблю, плюмаж, запонки и пряжку; потом мальтийский орден святого Иоанна, огромный дом вблизи Зимнего дворца, триста тысяч наличными деньгами, великолепное Шкловское имение, которое прежде принадлежало князьям Чарторыйским, и Велижское староство Витебской провинции Полоцкой губернии. Кроме того, он был назначен президентом Вольно-экономического общества. Не оставили без внимания заслуг Семена Гавриловича и иностранные монахи: польский король наградил его Белым Орлом, а шведский – орденом Меча.

Милость Зорича продолжалась, однако, не более года. Заметив охлаждение императрицы, он пришел в ужас и отчаяние, приписал все интригам Потемкина, вызвал было князя на дуэль, но в конце концов смирился, оставил опостылевшее Царское Село и Петербург и отбыл на постоянное жительство в свое Шкловское имение. Первое время – впрочем, весьма недолго – он был чрезвычайно расстроен крушением своей государственной карьеры. Пост, который он занимал, очень ему нравился. Кроме того, он находил, что при отставке его обидели. Правда, полученные им алмазная табакерка квадратиком и особенно пояс в фунт золота, усыпанный бриллиантами и смарагдами, были хороши. Но пожалованное Семену Гавриловичу графское достоинство его не удовлетворяло. Он знал, что родовая русская знать иронически относится к смешному немецкому титулу графа, совершенно не известному в старину на Руси, и в свое время очень посмеивалась над Борисом Шереметевым, который, происходя от Андрея Кобылы, не уступая в знатности старейшим родам, тем не менее согласился испортить свое древнее имя этой петровской кличкой, еще вдобавок всякий раз подлежавшей утверждению германского императора.

Денег и имущества Зорич получил также гораздо меньше, чем Орловы или Потемкин. Но это обстоятельство не так огорчало Семена Гавриловича. Он не был корыстолюбив и совер-

шенно не знал цены деньгам. Безмерно щедрый и расточительный, он при всем своем богатстве почти всегда нуждался и имел множество долгов.

Граф Зорич, умом вообще довольно плохо постигавший разницу между добром и злом, был по природе своей чрезвычайно добрый человек. Он очень любил Россию – той особенной любовью, какой ее любят некоторые из русских инородцев. Преуспев на поприще государственной службы и добившись высоких степеней, граф чувствовал потребность засвидетельствовать свою благодарность новой родине. А так как Зорич любил молодежь и, кроме того, сильно скучал в Шклове, то в одно радостное летнее утро он принял решение – не останавливаясь ни перед какими затратами, основать в своем поместье образцовое учебное заведение для детей бедных дворян и служилых людей. Такое училище (из него впоследствии вышел Московский кадетский корпус) действительно было им открыто в 1778 году, 24 ноября, в день именин государыни. Обставил его Зорич с роскошью необычайной. Имелись при училище и манеж, и большой зоологический *музеум*, и библиотека, купленная у Самойлова за баснословно высокую цену – восемь тысяч рублей, и даже картинная галерея с произведениями Рубенса, Теньера, Веронеза. Главным своим помощником по управлению училищем Зорич пригласил француза де Сальморона; преподаватели тоже были больше иностранцы. Училище скоро приобрело немалую славу. В ту пору, когда у Зорича были деньги, он ничего не жалел для своих питомцев. Если же Семен Гаврилович проигрывался в карты, то воспитанники сидели без сластей и карманных денег, а воспитатели без жалованья. Но ни те, ни другие на графа не сердились. Этот беспутный человек был так красив собой и так обезоруживающе добр, что ему вообще прощались все грехи. Впрочем, обстоятельства его карьеры по тем временам чрезмерного осуждения и не вызывали.

Особенно пышно отпраздновал Семен Гаврилович школьный выпуск 1792 года. К тому времени было почти отстроено и раскинулось овальным полукругом, в шестьдесят сажень длины, на правом, возвышенном берегу Днепра новое трехэтажное каменное здание училища. Нота Ноткин, министр финансов Зорича, раздобыл для графа большую сумму денег, и воспитанникам была сшита новая, парадная обмундировка. На огромном школьном дворе, где по средам и субботам производилась военная экскурсия, выстроились все четыре эскадрона училища: кирасиры в палевых колетах, гусары в светло-голубых мундирах, гренадеры в темно-синих и егеря в светло-зеленых куртках. Красиво развевались знамена с рисованными по атласу значками шкловского графства; а в момент появления на фронте Зорича был даже троекратно произведен залп из четырех двухфунтовых единорогов. Многочисленные гости, съехавшиеся на праздник со всей округи, были в восхищении. Больше всех сиял сам Семен Гаврилович Зорич.

В числе воспитанников выпуска 1792 года был один, которого граф особенно любил и на которого возлагал большие надежды. Звали этого молодого человека Штааль. Происхождения он был не русского, темного, как сам Зорич, и подобно Зоричу отличался редкой красотой.

Граф Семен Гаврилович очень желал устроить своему любимому питомцу самое блестящее будущее. Как-то раз ему пришел в голову странный проект. Раздумывая над вопросом о наиболее счастливой участи, могущей выпасть на долю Штааля, он, естественно, сделал вывод, который подсказывался всем опытом его собственной жизни: самая счастливая и блестящая судьба ждала бы молодого человека в том случае, если б ему удалось стать фаворитом императрицы Екатерины.

Мыслей у графа Семена Зорича было не так много, и он ими поэтому особенно дорожил: его долг, его обязанность с той поры представились ему совершенно ясными: они заключались в том, чтобы оказать Штаалю услугу, которую когда-то Потемкин оказал ему самому. К тому же он, Зорич, мог бы в случае успеха сделаться хозяином Российской империи – в качестве наставника и руководителя фаворита государыни – и уж тогда наверное получил бы княжеский титул.

Зорич благодаря своим петербургским и саркосельским связям был в курсе всех придворных дел и интриг. По старому знакомству почт-директор Пестель доставлял ему даже копии наиболее занимательных писем, перлюстрировавшихся в черном кабинете. Эти копии, на листах сероватой золотообрезной бумаги с водяным знаком, изображавшим льва, рыцаря и девиз *pro patria*<sup>15</sup>, были очень полезны Зоричу. Общая картина придворных отношений оказывалась довольно благоприятной: некоторые влиятельные лица, которые были в дурных отношениях с Зубовым, охотно поддержали бы всякую кандидатуру, идущую на смену надменному мальчишке. Семен Гаврилович послал с верной оказией несколько запросов сведущим людям в Петербург. Ответы получились тоже благоприятные.

## 2

Нелегко разобрать путаницу в голове и в душе молодого человека восемнадцати лет, особенно если этот молодой человек неглуп, горд, самолюбив и не находит удовлетворения гордости и самолюбию в той обстановке, которая обыкновенно окружает молодых людей, выходящих из детского возраста. Свобода близка, но ее еще нет – и близость свободы лишь пьянит и туманит душу. Выбор будущего еще не сделан, а сделать его надо – и не когда-нибудь, а сейчас, и не на срок, а навсегда.

В эти счастливые и мучительные годы ясно лишь очень немногое. Вполне ясно то, что жизнь текущего дня не есть настоящая жизнь: она так, она временна, она скоро пройдет. Настоящая, новая, совсем не такая, как теперь, не будничная, а необыкновенная и прекрасная или хотя несчастная, но трагическая жизнь – вся впереди. Неизвестно только, придет ли она сама собой или нужно что-то делать для ее приближения; и если нужно, то что же именно?.. Эта вера в какую-то новую, другую, жизнь, заполняющая всю душу очень молодых людей и со всем их мирящая, держится, понемногу уменьшаясь, довольно долго. У большинства она исчезает к концу третьего десятка. Но есть счастливые люди, доживающие с такой верой до старости и сходящие с ней в могилу.

Подавленный величием роли, которая, несомненно, должна выпасть на его долю в жизни, и вместе с тем смущенный крайней неуверенностью насчет того, какова, собственно, будет эта роль, молодой Юлий Штааль кончал курс в училище графа Зорича.

Его свобода была не за горами. И с ней, конечно, должны были открыться бесконечные возможности необыкновенной жизни: он, Штааль, не мог быть таким, как все, ибо быть таким, как все, – пошло и ужасно. В военном училище, однако, очень трудно жить по-своему, да еще необыкновенной жизнью. Кое-кто из товарищей Штааля проявлял свою личность в кутежах. Но это была проторенная дорожка. Вдобавок и начальство не баловало за кутежи, и денег для них у Штааля не было. А главное – уж очень эти шкловские кутежи были не похожи на то, что рассказывалось во французских книгах о похождениях герцога Лозена или герцога Ларошфуко. И местные дамы, которые иногда, по воскресеньям, в величайшем секрете от воспитателей, привлекались к участию в кутежах, тоже мало походили на Нинон де Ланкло и на Диану де Пуатье.

Временно, в ожидании лучшего, Юлий Штааль избрал для себя стиль кабинетной науки и проводил почти все свободное время в школьной библиотеке, в которой имелось много русских, французских и немецких томов всевозможного содержания. Ко времени выпуска своего из училища он прочел большую часть этих книг, вследствие чего туман в его голове сделался почти беспросветным.

Мосье Дюкро, учитель-француз, очень благосклонно относившийся к Штаалу, разъяснил ему секрет подлинного знания. Истина, вся истина, таким огромным трудом приобретен-

---

<sup>15</sup> За родину (*лат.*).

ная, политая кровью благороднейших людей мира, горевшая на костре с Джордано Бруно, подвергавшаяся пытке с Галилеем, стала наконец достоянием мыслящего человечества, несмотря на происки тиранов, глупцов и монахов. Мосье Дюкро благоговейно снял с полки библиотеки огромную толстую книгу в красном сафьянном переплете с золотым тиснением и обрезом. У книги этой, в которой содержалась истина, было очень длинное заглавие. Она называлась: «Encyclopedic ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers, par une Societe de gens de lettres. Mis en ordre et publie par M. Diderot, de l'Academie Royale des sciences et des Belles-Lettres de Prusse; et quant a la Partie Mathematique, par M. D'Alembert, de l'Academie Royale de sciences de Paris, de celle de Prusse, et de la Societe Royale de Londres»<sup>16</sup>. Издана была книга в Париже, в 1751 году, у Бриассона, Давида-старшего, Ле Бретона и Дюрана, «avec approbation et privilege du Roy»<sup>17</sup>, – мосье Дюкро многозначительно улыбнулся, читая последние слова. На первой странице красовалась виньетка, изображавшая какого-то ангела, обвеянного клубами дыма и шагающего босыми ногами по глобусам, картам, книгам, оружию и чему-то еще. Имелся и эпиграф из Горация: «Tantum series juncturae pollet, tantum de medio sumptis accedit honoris»<sup>18</sup>. Штаалю было очень совестно, что, плохо зная по-латыни, он не разобрал смысла этого эпиграфа.

Мосье Дюкро объяснил своему ученику, что в «Энциклопедии», считая с дополнениями, есть почти три десятка таких толстых книг. Зато стоит изучить их как следует, – и тогда раз навсегда освобождаешься от всех предрассудков, порожденных вековым невежеством и черным фанатизмом.

Штааль с благоговением прочел длинное предисловие Даламбера. Он многого не понимал, но мосье Дюкро помогал ему разъяснениями, а один отрывок прочел даже сам вслух, с чувством и чрезвычайно выразительно: «Car tout a des revolutions reglees, et l'obscurite se terminera par un nouveau siecle de lumiere. Nous serons plus frappees du grand jour, apres avoir ete quelque temps dans les tenebres. Elles seront com-me une espece d'anarchie tres funeste par elle-meme, mais quel-que-fois utile par les suites»<sup>19</sup>. По интонациям мосье Дюкро Штааль понял, что в этом отрывке заключается сокровенный смысл «Энциклопедии». Он попробовал читать и дальше предисловия: прочел длинную статью о букве А, затем об Аа, s. r., riviere de France, Ab, s. m., onzieme mois de l'annee civile des Hebreux<sup>20</sup> – и несколько остыл, – не почувствовал освобождающего влияния великой книги: ни с буквой А, ни с Аа, s. r., ни с Ab., s. m. у него не связывалось предрассудков, порожденных невежеством и фанатизмом. Штааль со вздохом отложил в сторону томы «Энциклопедии», придя к выводу, что трудно научиться мудрости из словаря, хотя бы самого замечательного, и принялся читать книги без руководства и без разбора. Прочел «Systeme de la Nature», заглянул в «Dictionnaire Philosophique», одолел «L'homme machine». Одновременно прочел также и «Naturgesetzmässige Untersuchung des Nichts»<sup>21</sup> некоего Георга фон Лангенгейма, и ряд изданий московской типографической компании, и «Древнюю Российскую Вивлиофику», и «Скифскую историю из разных иностранных историков, паче же из Рос-

<sup>16</sup> «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел, подготовленная обществом литераторов. Составлена и издана г. Дидро, членом Королевской академии наук и Академии изящной словесности Пруссии; раздел математический написан г. Даламбером, членом Парижской Королевской академии наук к таковой же Прусской, а также Лондонского Королевского общества» (франц.).

<sup>17</sup> С разрешения и по праву, полученному от короля (франц.).

<sup>18</sup> «Великую силу и важность // Можно и скромным словам придать расстановкой и связью» (лат., перевод М. Гаспарова).

<sup>19</sup> «Ибо все имеет свои регулярные перевороты, и мрак рассеется при наступлении нового просвещенного века. Проведя некоторое время в ночной темноте, мы потом будем более поражены ярким светом дня. Эти революции будут вроде анархии, чрезвычайно гибельной самой по себе, но иногда полезной по своим следствиям» (сб.: Родоначальники позитивизма. Вып. 1. Перевод И. А. Шатило. СПб., 1910).

<sup>20</sup> «Аа, ж. р., – река во Франции; Аб [или Ав], м. р., – одиннадцатый месяц еврейского гражданского календаря» (франц.).

<sup>21</sup> «Система природы», «Философский словарь», «Механический человек», «Сообразные с природой исследования небытия» (франц., нем.).

сийских верных историй и повестей», и «Ноши» Юнга, и даже старые номера «Покоящегося трудолюбца». Попадались ему в библиотеке и книги другого содержания. Проглотил он одним духом только что получивший мировое распространение роман Бернардена де Сен-Пьера, – был немного влюблен в Виргинию, чуть-чуть ревновал ее к Павлу и едва поверил ушам, когда услышал от мосье Дюкро, что автор этой книги – известный авантюрист, если не мошенник. А затем ему попало в руки «Модное ежемесячное сочинение, или Библиотека для дамского туалета» с гравюрами: «А ля белль пуль»<sup>22</sup>, «Раскрытые прелести», «Расцветающая приятность» и «Прелестная простота». Прочел Штааль и «Исповедь» Руссо, но в ней он многого не понял, а из того, что он понял, кое-что показалось ему противным, и он не мог постигнуть, каким образом этот порочный человек почитался миром в качестве мудреца и учителя добродетели. Путаница в голове молодого человека становилась все гуще. Но он не терял надежды найти несколько позднее такую *собственную* философскую точку зрения, которая примирит Новикова с Вольтером и «Naturgesetzmässige Untersuchung» с «Systeme de la Nature».

Самое сильное впечатление произвело на него одно сочинение неизвестного автора, только что присланное в библиотеку училища книжной лавкой Зотова и называвшееся «Путешествие из Петербурга в Москву». Штааль с волнением читал вслух отрывок, который начинался словами: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою – и узрел, что бедствия человека происходят от человека...»

Эта книга дала направление его мыслям. Еще до ее выхода в свет в училище стало известно, что во Франции происходят великие события. Первые слухи о французской революции были встречены в Шклове восторженно и воспитанниками, и учителями, и даже самим Семеном Гавриловичем Зоричем, которому тоже почему-то очень понравилось, что французские депутаты о чем-то присягали в Jeu de Paume<sup>23</sup>, и как-то там при этом, кажется, играла музыка, и вообще все, как всегда в Версале, было очень весело и благородно. Однако вскоре спустя было получено известие о взятии Бастилии; в правительственной газете появилась об этом событии громовая статья, авторство которой приписывали самой императрице. Революционный пыл Зорича утих; он даже запретил давать воспитанникам иностранные газеты. Но они тем не менее узнавали кое-что о происходившем во Франции от учителей. Мосье Дюкро становился все мрачнее и сосредоточеннее: был сух с Зоричем, холодно кланялся начальству, раз даже вовсе не поклонился местному полицеймейстеру и все грозил, что скоро уедет *совсем* во Францию. От него Штааль узнал имена и краткие характеристики главных революционных героев; по примеру мосье Дюкро он последовательно увлекался Лафайетом, Бальи, Мирабо. Однажды, в минуту откровенности, заговорив с Штаалем наедине об императрице Екатерине, мосье Дюкро потряс кулаками в воздухе и произнес несколько слов, которые восемнадцатилетний Штааль не совсем понял, хотя хорошо владел французским языком. Он попросил объяснений, но мосье Дюкро поспешно замолчал, оглянулся на дверь и перевел разговор на другой предмет. Штааль понял только, что мосье Дюкро не любил императрицу. Это очень его огорчило, ибо сам он, как все его сверстники, боготворил заочно Екатерину II и едва ли не был влюблен в ее портрет, висевший в кабинете графа Семена Гавриловича. Позднее, тоже в минуту откровенности, мосье Дюкро сказал, что его положение в России становится очень тяжелым, ибо между Францией и Европой может ежеминутно вспыхнуть война, как этого домогаются проклятые кобленцкие эмигранты. Он объяснил Штаалу, что во Франции образовалась большая партия бриссотинцев, или, как их еще называют, жирондистов, которая хочет объявить войну всем тиранам. Во главе этой партии стоит Верньо, величайший оратор в мире после смерти Мирабо и совершенно изумительный человек. При этом глаза у мосье Дюкро

<sup>22</sup> «У красотки» (франц. – a la belle poule).

<sup>23</sup> Зал для игры в мяч (франц.).

заблестали и голос его задрожал. Штааль сразу почувствовал горячую любовь к бриссотинцам и особенно к Верньо; но вместе с тем был несколько смущен. Неужели великая просвещенная Екатерина, друг и покровительница Вольтера и Дидро, тоже принадлежит к числу тиранов? И если между Францией и Россией вспыхнет война, то как же тогда быть, – что делать ему, Штаалю, и кому желать победы? Воевать с тиранами против страны философов, революции и мосье Дюкро было очевидно невозможно. Но, как русский патриот и верноподданный великой Екатерины, Штааль, естественно, считал себя обязанным в первый же день по объявлении войны выпросить у Зорича разрешение записаться в волонтеры. К тому же можно было думать (приняв во внимание преклонный возраст и дряхлость Румянцева), что в случае объявления войны сам Суворов станет во главе русской армии; а Штааль боготворил Суворова.

Мосье Дюкро привел в исполнение свою угрозу и в 1792 году, таинственно покинув училище, уехал к себе на мятежную родину. После его отъезда Штаалю стало особенно тоскливо. Училище ему надоело смертельно. В свои восемнадцать лет он еще ничего не сделал замечательного и очень боялся опоздать. Правда, Зорич обещал послать его немедленно после выпуска на службу в Петербург и при этом неопределенно говорил, что ему, Штаалю, с его умом и молодостью, стыдно было бы не сделать блестящей карьеры. Штааль очень хотел сделать блестящую карьеру и всей душой жаждал окончания курса.

Как-то раз, перед самым выпуском, он вечером зашел в библиотеку и по привычке, почти машинально, взял с полки первое, что попало под руку. Это была крошечная книжка, написанная Байе: «*La vie de M. Des-Cartes contenant l'histoire de sa philosophic et de ses autres ouvrages. Et aussi ce qui luy est arrive de plus remarquable pendant le cours de sa vie. A Paris, chez la veuve Cramoysi, 1693, avec privilege du Roy*»<sup>24</sup>. Штааль почти ничего не знал о Декарте, кроме похвал, расточенных ему в предисловии Даламбера к «Энциклопедии». Знал, впрочем, что Декарт – великий философ, который сказал «*cogito ergo sum*»<sup>25</sup>, – и что фраза эта знаменита своим глубокомыслием на весь мир (Штааль не совсем понимал – почему). Он с зевком принялся читать – и прочел книжку одним духом: такой волшебной и вместе близкой и бесконечно важной для него самой оказалась ему биография философа Декарта.

Наука, тоска, свет, кутежи, игра, войны, путешествия, приключения, розенкрейцеры, – и затем снова наука, гениальные открытия, глубокие вдохновенные мысли... Так вот что такое жизнь, вот что такое мудрость!

Штааль взволнованно отыскал в библиотеке сочинения самого Декарта. Он открыл «*Discours de la Methode*»<sup>26</sup> и через минуту был во власти чар этой единственной в мире книги. А на месте рассказа, где старый мудрец описывает свой выход из школы и погружение в «великую книгу мира», слезы волнения и счастья брызнули из глаз восемнадцатилетнего Штааля.

«*C'est pourquoi sitost que l'aage me permit de sortir de la sujétion de mes Precepteurs, je quittay entierement l'estude des lettres. Et me resolvant de ne chercher plus d'autre science, que celle qui se pourrait trouver en moy mesme, ou bien dans le grand livre du monde, j'employay le reste de ma jeunesse a voyager, a voir des cours et des armées, a frequenter des gens de diverses humeurs et conditions, a recueillir diverses experiences, a m'esprover moy mesme dans les rencontres que la fortune me proposoit, et partout a fair telle reflexion sur les choses qui se presentoient que j'en puisse tirer quelque profit... Et j'avcis toujours un extreme desir d'apprendre a distinguer le vray d'avcc le faux, pour voir clair en mes actions, et marcher avec assurance dans cette vie*»<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> «Жизнь г. Декарта, содержащая историю его философии и его другие труды. А также все, что произошло примечательного в течение его жизни. [Напечатано] в Париже, у вдовы Крамуази, 1693, по праву, полученному от короля» (франц.).

<sup>25</sup> «Я мыслю, следовательно, я существую» (лат.).

<sup>26</sup> «Рассуждение о методе» (франц.).

<sup>27</sup> «Вот почему, как только возраст позволил мне выйти из подчинения моим наставникам, я совсем оставил книжные занятия и решил искать только ту науку, которую мог обрести в самом себе или же в великой книге мира, и употребил остаток моей юности на то, чтобы путешествовать, увидеть дворы и армии, встречаться с людьми разных нравов и положе-

Эти слова открыли Штаалю значение его собственной жизни, указав ему новый путь. Он твердо решил последовать по стопам Декарта: нужно сначала увидеть мир и людей, испытать все, пройти через *все*, – а потом *смысл* придет сам собою...

В начале января 1793 года, блестяще окончив училище, молодой человек отправился в Петербург, щедро снабженный Зоричем деньгами и рекомендательными письмами. Граф Семен Гаврилович не дал Штаалю точных указаний относительно предстоявшей ему карьеры. Он говорил неопределенно о блеске петербургского двора, о величии матушки императрицы, об ее славе и красоте – и все по-прежнему подчеркивал, что ждет от своего юного питомца сказочных успехов, на которые дают несомненные права его ум, способности и разные другие достоинства.

### 3

Полвека прошло с той поры, как Фридрих II, желая насолить саксонскому двору, который рассчитывал выдать свою принцессу Марию-Анну за наследника русского престола Петра-Карла-Ульриха Гольштейнского, внезапно ставшего великим князем Петром Федоровичем, принялся спешно подыскивать для великого князя другую невесту. Были у прусского короля для этой цели на примете три немецкие принцессы: две гессен-дармштадтские и одна цербстская. Последняя наиболее подходила по возрасту, но уж очень заурядной представлялась эта побочная цербст-дорнбургская линия одной из восьми ветвей ангальтского дома, нищая и захудалая даже среди нищих и захудалых немецких князьков. О самой пятнадцатилетней невесте Фридрих ничего не знал. Говорили только, что мать ее, Иоганна-Елизавета, вела очень легкомысленный образ жизни и что вряд ли маленькая Фике действительно дочь цербстского князя Христиана-Августа, занимавшего должность губернатора в Штетине.

После непродолжительных колебаний выбор русского двора остановился именно на принцессе Фике. Императрица Елизавета, дочь Петра Великого, в память своей умершей сестры Анны, вышедшей замуж за герцога Гольштейнского, избрала для племянника невестой цербстскую принцессу, бывшую в родстве с гольштейнским домом. Но еще задолго до окончательного решения, зимой 1742 года, в крошечный Цербст неожиданно-негаданно пришла следующая грамота:

«Светлейшая княгиня, дружелюбно-любезная племянница.

Вашей любви писание от 27 минувшего декабря и содержанные в оном доброжелательные поздравления мне не иначе, как приятны быть могут. Понеже ваша любовь портрет моей в Бозе усопшей государыни сестры герцогини Гольштейнской, которой портрет бывший здесь в прежние времена королевской Пруссии министр барон Мардефельд писал, у себя имеет; того ради мне особливая угодность показана будет, ежели Ваша любовь мне оной, яко иного хорошего такого портрета здесь не находится, уступить и ко мне прислать изволите; я сию угодность во всяких случаях взаимствовать сходна буду.

Вашей любви дружелюбно охотная

*Елисавет».*

Фике, будущая императрица Екатерина II, живо помнила, как собралась в гостиной их квартиры вся семья и ближайшие друзья дома: баронесса фон Принцен, пастор Дове, der

---

ний и собрать разнообразный опыт, испытать себя во встречах, которые пошлет судьба, и повсюду поразмыслить над встречающимися предметами так, чтобы извлечь какую-нибудь пользу из таких занятий... Я же всегда имел величайшее желание выучиться различать истинное от ложного, чтобы отчетливее разбираться в своих действиях и уверенно двигаться в этой жизни» (Р. Декарт. Рассуждение о методе. Перевод Г. Г. Слюсарева. М. – Л., 1953).

dumme<sup>28</sup> Вагнер и другие; как переводчик, долго ломая голову над каждой фразой, взволнованно-радостно переводил письмо русской царицы; как все жадно ловили его слова, переспрашивая по десяти раз и требуя ежеминутно пояснения смысла, которых он, очевидно, дать не мог. Сама четырнадцатилетняя Фике не совсем понимала причину общего радостного возбуждения, хотя и видела, что письмо имеет какое-то очень важное отношение именно к ней. Когда же все фразы письма были разобраны и наскоро прокомментированы (их потом комментировали ежедневно в течение долгих месяцев), пылкая Иоганна-Елизавета бросилась дочери на шею и, закатив глаза, взволнованно зашептала:

– Фикхен! Молись Богу!

Фикхен была этим очень довольна: мать вообще не баловала ее ласками и нещадно колодила за каждую провинность.

Портрет Анны Петровны был, разумеется, немедленно отправлен царице. Вскоре после того онкель Август повез в Петербург и портрет самой Фике, очень скверно написанный живописцем Антуаном Пэном. А еще несколько позже пришло от их друга Брюммера, воспитателя великого князя, другое письмо – уже на немецком языке, – приглашавшее от имени царицы Иоганну-Елизавету с дочерью прибыть немедленно в Россию.

«Ваша Светлость, – писал многозначительно Брюммер, – слишком просвещенны, чтобы не понять истинного смысла того нетерпения, с которым Ее Императорское Величество желает скорее увидеть здесь Вас, равно как и принцессу Вашу дочь, о которой молва сообщила нам так много хорошего. Бывают случаи, когда глас народа есть именно глас Божий.

В то же время, наша несравненная монархиня мне указала предварить Вашу Светлость, чтобы принц супруг Ваш не приезжал вместе с Вами; Ее Императорское Величество имеет весьма уважительные причины желать этого. Полагаю, Вашей Светлости достаточно одного слова, чтобы воля нашей божественной государыни была исполнена.

Чтобы Ваша Светлость не были ничем затруднены, чтобы Вы могли сделать несколько платьев для себя и для принцессы Вашей дочери и могли, не теряя времени, предпринять путешествие, имею честь приложить к настоящему письму вексель, по которому Вы получите деньги немедленно по предъявлении... Осмеливаюсь ручаться Вашей Светлости, что по благополучном прибытии сюда Вы не будете уже нуждаться ни в чем. Ваша Светлость найдет здесь покровительницу, которая позаботится обо всем, что Вам необходимо, чтобы достойным образом появиться в обществе. Приняты такие меры, что Ваша Светлость останетесь вполне довольны».

В тот же день было получено в Цербсте и письмо от Фридриха II. Прусский король, сообщая с своей стороны радостное известие, настойчиво советовал ехать и держать поездку в строжайшем секрете (чтобы, Боже упаси, не узнали раньше времени саксонцы и граф Чернышев).

Но торопить Иоганну-Елизавету не требовалось. Через несколько дней вся цербстская семья примчалась в Берлин. Фридрих был очень ласков, потрепал Фикхен по щеке, радостно представляя себе, как будут расстроены этим браком саксонцы и Бестужев-Рюмин, – и благословил принцесс в долгий путь.

Затем Фике навсегда простилась с отцом, от которого получила при этом случае странное письменное напутствие. На языке, считавшемся в ту пору немецким, ангальт-цербстский принц рекомендовал дочери: «Nicht in familia-rite oder badinage zu entriren, sondern allezeit einigen egard sich moeglichst conservieren... In keine Regierungssachen zu entriren um den Senat nicht aignren...»<sup>29</sup> Советовал также беречь деньги, проверять счета прислуги и ни в коем случае

---

<sup>28</sup> Глупый (нем.).

<sup>29</sup> «Не впадать в фамильярность или шутливость, но всегда по мере возможности сохранять обходительность... Не вникать ни в какие дела правления, чтобы не раздражать Сенат...» (нем., франц.)

не играть в карты. Читая отцовское наставление, Фикхен плакала горькими слезами. Затем она выехала с матерью в Россию, останавливаясь для ночевки на постоялых дворах.

По дороге Иоганна-Елизавета занимала Фике рассказами о России. Но она сама почти ничего не знала об этой стране, кроме разных анекдотов о великом Петере. Император Петр I любил немцев, и немцы тоже его любили. По Германии ходили всякие рассказы о московском царе, который был на две головы выше среднего человеческого роста, работал и пил вдвое больше, чем обыкновенные люди, и в один присест съедал целого гуся. При этом воображение немцев поражал не столько аппетит русского монарха – по аппетиту многие из них ему никак не уступили бы, – сколько то обстоятельство, что один человек, хотя бы и кайзер, позволял себе потреблять сразу такое количество дорогого гензебратена. Несколько шокировали немцев привычки московского царя. Он бражничал с моряками, легко перепивал их и на голландско-немецком языке горько жаловался на судьбу, которая поставила его царем над этаким темной страной. «Народ хитрый, умный, – угрюмо говорил он, – русский мужик по уму трех жидов стоит. Да учиться, подлецы, не хотят!..» Рассказывали также с некоторым ужасом, что в Виттенберге, когда Петру показали палату, где Мартин Лютер бросил в дьявола чернильницей, царь внимательно осмотрел оставшееся на стене от этого чудесного случая пятно, а затем сердито написал в книжке, предназначенной для почетных гостей: «Чернила новые и совершенно сие неправда».

Иногда между рассказами о странном московском царе Иоганна-Елизавета наставительно говорила дочери о том, какое счастье выпадет ей на долю, если удастся обворовать великого князя и благополучно довести дело до конца. Фике внимательно ее слушала и всей душой была рада стать царицей, Kaiserin. Правда, ей не очень улыбалось выйти замуж за шестнадцатилетнего мальчишку; но, когда она дала понять это матери, та назвала ее глупенькой девочкой и намекнула, что у монархинь есть, правда, великие, священные обязанности, но есть и такие права, которых не имеют обыкновенные замужние дамы.

Настоящее свое счастье Фике стала понимать только тогда, когда их скромный экипаж подошел к русской границе. Под Ригой принцесс встретили камергер Семен Кириллович Нарышкин, князь Долгоруков, генерал-аншеф Салтыков, кирасиры полка великого князя, преображенцы, измайловцы, представители дворянства и магистрата. Там же их ждали первые подарки царицы – великолепные собольи шубы, покрытые парчой. Иоганна-Елизавета вскрикнула: «Wunderschoen! Aber wunderschoen!»<sup>30</sup> и объявила во всеуслышанье, что хотя ее удивить очень трудно, ибо ей в Гамбурге у мамы приходилось видеть самые дорогие меха, но ничего подобного этим шубам она все-таки никогда не видела.

В Риге принцессы пересели из своего возка в императорские сани, длинные, с кузовом, обшитые изнутри собольями, выложенные шелковыми матрасами, запряженные десятью лошадьми, по две в ряд. На передке саней сел камергер Нарышкин. Это был такой важный и осанистый человек, и одет он был так богато, и кричал он на прислугу таким страшным голосом, что Фике при первой встрече уже было собралась поцеловать ему руку, как ей полагалось делать с почетными гостями в Цербсте и Штетине. Но мать толкнула ее в бок – и она вспомнила, что Нарышкин станет, быть может, ее подданным.

Свита принцесс разместилась во множестве других саней, эскадрон кирасир великого князя выстроился вокруг поезда, и поезд понесся в Петербург. Эта поездка осталась в воспоминании Фике как длинный чудесный сон. Все было здесь не похоже на ее родину: необычайный простор земли; роскошь высокопоставленных людей; странные, неправильные, азиатские черты лица попадавшихся прохожих; непривычная развалистая походка пешеходов; а главное – необычайный размах, ширь во всем, раздолье, о котором у них никто не имел понятия. Она

---

<sup>30</sup> «Чудесно, просто чудесно!» (нем.)

все больше и лучше понимала, какое неслыханное, небывалое счастье сваливается ей на голову, и странные, честолюбивые мысли впервые пришли пятнадцатилетней девочке...

Успела она также в дороге обратить внимание на всех сопровождавших ее мужчин – от высших лиц свиты до простых кирасир, – причем быстро отметила и выделила красивых. Видавший вид камергер Нарышкин искоса поглядывал на девочку, на ее неправильные черты, на голубые глаза, оттененные черными ресницами, на пухлый рот и выдающийся подбородок, и думал про себя, что из маленькой немки будет толк.

Неслыханные почести ждали принцесс ангальт-цербстских в Петербурге, а затем в Москве, где тогда временно находился двор. Императрица и великий князь приняли их «auf tendreste»<sup>31</sup>. В день их приезда, вечером, в отведенные им апартаменты Головинского дворца торжественно явился старый друг Брюммер, воспитатель великого князя. Иоганна-Елизавета и Фике сразу заметили, что *der alte Kerl*<sup>32</sup> строго выдерживает новый тон. Россию он называл «нашим славным отечеством», а императрицу Елизавету «нашей великой государыней». Приняв во внимание, что подданным императрицы и русским человеком Брюммер сделался два года тому назад, Фике порешила, что она еще скорее станет русской женщиной и великой княгиней. Брюммер много рассказывал о великолепии петербургского двора, ни в чем не уступающего версальскому; о размерах русских дворцов; а также о мудрости, доброте и добродетели императрицы Елизаветы, которая навсегда отменила в России смертную казнь, в чем поклялась на образе святого чудотворца Николая. Больше, однако, поразило немецких принцесс то, что у Елизаветы в гардеробе имеется пятнадцать тысяч платьев, пять тысяч пар башмаков и два сундука шелковых чулок. Как ни много удивительных вещей видели в последнее время принцессы в Петербурге и Москве, эти цифры совершенно поразили их воображение: сами они привезли из Германии по три платья и по одной дюжине белья. Нагнал на них робость и общий тон речи Брюммера. Впрочем, несколько позже, когда они робко вынули привезенные ими ему подарки: пять фунтов настоящей, непортящейся штетинской колбасы, две бутылки настоящего старого иоганнисбергера, шелковый кошелек и кисет для табаку, Брюммер расчувствовался, вспомнил Цербст, Штетин, Киль, госпожу Брандорф, старый Рейн, прослезился и перестал называть Россию нашим славным отечеством. Они тут же втроем распили бутылку настоящего старого иоганнисбергера, закусили настоящей, непортящейся штетинской колбасой, после чего у Брюммера развязался язык и характер его сообщений стал несколько иной. Оказалось, что хотя в гардеробе Елизаветы есть пятнадцать тысяч платьев, но денег в русской казне нет, и, кроме как на содержание двора, да еще на армию, ничего ни на что расходовать нельзя. И хотя смертная казнь в России навсегда отменена, – согласно обычаю, по которому всякое новое русское правительство первым делом навсегда отменяет смертную казнь, – но языки и уши режут людям, часто большими партиями, что ни день. И хотя сама императрица образец монархини, но все-таки нехорошо, что она частенько напивается водкой до бесчувствия, как кильский извозчик. И хотя она дочь великого Петера, но мать ее была по профессии такое, что и сказать при барышне невозможно; а дядя, граф Федор Скавронский, еще совсем недавно был ямщиком, *ein Kutscher*! И хотя императрица ангел, но поведение ее... Правда, знатные дамы могут иногда позволять себе вольности – тут Брюммер подозрительно поглядел на Иоганну-Елизавету, – однако нужно знать, с кем можно их себе позволять и с кем нельзя. Против благородных риттеров он, Брюммер, не говорит ни слова, но путаться императрице, *einer Kaiserin*! с конюхом *ist wirklich unerhoert*!<sup>33</sup> Что касается нашего Карла-Ульриха, то это был шелковый мальчик в Киле, где он, Брюммер, держал его в руках и всего еще два года тому назад основательно порол за шалости; а с тех пор, как Карл-Ульрих стал в России великим

<sup>31</sup> Самым любезным образом (*нем.*).

<sup>32</sup> Старик (*нем.*).

<sup>33</sup> Воистину неслыханно! (*нем.*)

князем Петром Федоровичем, к нему подступиться нельзя: совершенно испортился и, чего доброго, плохо кончит. А вообще, хотя Россия, конечно, великая страна, имеющая громадное будущее, но понять в ней и в этих московитах решительно ничего нельзя. И если говорить правду – ему хорошо известна дискрецион<sup>34</sup> обеих принцесс, – то Цербст, не говоря уже о Киле, много лучше России. Вот только жалованья в Цербсте и в Киле, к сожалению, платят мало и никакой серьезной карьеры там сделать нельзя; а то и уезжать оттуда было бы совершенно не нужно.

#### 4

Все это было очень, очень давно. Пятнадцатилетняя девочка превратилась в старуху: Фикхен стала императрицей Екатериной Великой. Позади были кровавые вехи длинного пути, удачи, неудачи, страшные дни «Петербургского действия» и пугачевщина, очень было перепугавшая царицу.

Царствование ее было удачным. Как добросовестная немка, Екатерина старательно работала для страны, которая дала ей такую хорошую и выгодную должность. Счастье России она естественно видела в возможно большем расширении пределов русского государства. От природы она была умна и хитра. Нелегко доставшийся престол научил ее многому. Она прекрасно разбиралась в интригах европейской дипломатии. Хитрость и гибкость были основой того, что в Европе, смотря по обстоятельствам, называлось политикой Северной Семирамиды или преступлениями московской Мессалины.

Но, несмотря на огромный промежуток времени, отделявший старую государыню от немецкого периода ее жизни, несмотря на то что в течение тридцати с лишним лет она была самодержавной царицей России, цербстское прошлое в значительной мере определяло мысли и чувства Екатерины. Какие успехи ни выпадали на ее долю, как ни привыкла она ко всеобщей, безмерной лести, императрица все еще не могла совершенно оправиться в глубине души от того небывалого, случайного и сказочного счастья, которое выпало ей на долю. Екатерина прекрасно знала, что ни по каким законам не имеет ни малейших прав на императорский престол России. Тот, кто мог себя считать законным русским монархом, несчастный Иоанн Антонович, с двухлетнего возраста заключенный в тюрьму, был убит при попытке к побегу, а поручика Мировича, устроившего эту попытку, казнили с соизволения Екатерины. Следующий за Иоанном Антоновичем император Петр Федорович был низвергнут Екатериной и задушен в Ропшинском замке. После же смерти обоих императоров, Иоанна и Петра, законным наследником был сын Екатерины, великий князь Павел Петрович. Он был устранен ею вопреки смыслу и духу закона. Русский престол она, цербстская немка, занимала только благодаря захвату, осуществленному тридцать лет тому назад кучкой шальных гвардейских офицеров. Иногда Екатерина во сне с ужасом видела, как ее внезапно лишают трона и душат, либо заключают в монастырь, либо отправляют на родину, туда, в Цербст.

Она хорошо понимала, что может держаться на престоле, лишь всячески угождая дворянству и офицерам, – с тем, чтобы предотвратить или хотя уменьшить опасность нового дворцового заговора. Это Екатерина и делала. Вся ее внутренняя политика сводилась к тому, чтобы жизнь офицеров при ее дворе и в гвардейских частях была возможно более выгодной и приятной.

Екатерина по природе своей не была ни зла, ни жестока. Напротив, она была даже скорее добра и охотно благодетельствовала людям, если ей это ничего не стоило или стоило не очень дорого. Честолюбие ее, вполне женское, то есть совершенно отличное от мужского, сильно уменьшалось с годами. Екатерина не была и чрезмерно властолюбива: всю жизнь неизменно

---

<sup>34</sup> Скромность (*франц.* discretion).

находилась под влиянием сменяющих друг друга фаворитов, которым с радостью уступала свою власть, вмешиваясь в их распоряжения страной только тогда, когда уж очень ясно они показывали свою неопытность, неспособность или глупость: она была умнее и опытнее в делах, чем все ее любовники, за исключением князя Потемкина.

В натуре Екатерины не было ничего чрезмерного, кроме странной смеси самой грубой и все усиливающейся с годами чувственности с чисто немецкой, практической сентиментальностью. В свои шестьдесят пять лет она как девочка влюблялась в двадцатилетних офицеров и искренне верила тому, что они также в нее влюблены. На седьмом десятке лет она плакала горькими слезами, когда ей казалось, будто Платон Зубов был с ней сдержаннее, чем обыкновенно.

## 5

Согласно инструкции, данной ему Зоричем, Штааль немедленно по приезде в Петербург явился к графу Александру Андреевичу Безбородко, одному из первых сановников столицы.

Безбородко был осведомлен о планах Зорича и очень им сочувствовал. Александру Андреевичу в последнее время не везло с фаворитами. Сильно невзлюбил его за что-то Мамонов, который из-за графа устроил было бурную сцену императрице – или, как мягко говорили в Эрмитаже, «двору»: Мамонов, подобно Потемкину, мало церемонился с Екатериной. Александр Андреевич, как умел, отбивался от нападков могущественного фаворита: пробовал даже в противовес Мамонову выставить своего племянника, красавца Милорадовича; но из этого дела ничего не вышло: Милорадович оказался слишком неловок. Правда, судьба ненадолго помогла графу: Мамонов неожиданно влюбился в княжну Щербатову и потерял свою должность при императрице. Но заместитель его, Платон Александрович Зубов, тоже не жаловал Безбородко и чинил ему всяческие неприятности. С фаворитами графу было бороться не под силу; главную свою надежду он возлагал на смену Зубова и на успех какой-либо благоприятной новой кандидатуры. Поэтому Александр Андреевич с особой симпатией отнесся к проекту Зорича.

Безбородко, еще не старый по возрасту человек, преждевременно одряхлел от развратной жизни. Хитрый и изворотливый по природе, он, по мнению строгих придворных, уже начинал сдавать, а, по мнению очень строгих, даже несколько выжил из ума, в чем их особенно убеждала развившаяся у министра неудержимая болтливость – обстоятельство, отнюдь не благоприятное для политической карьеры. Александр Андреевич еще занимал много очень важных должностей, но знатоки склонны были считать его песенку спетой, и около графа начинала образовываться та зловещая пустота, которая означает приближение конца всякой большой карьеры. Сам он, однако, не замечал этой пустоты или не желал ее замечать.

Совершенно ошеломленный Петербургом, Штааль вошел в большой, роскошно отделанный дом, где жил Безбородко, и вручил дежурному офицеру рекомендательные письма. Ждать министра ему пришлось в гостиной. Еще никогда Штаалю не приходилось видеть такой массы золота, как в этой комнате. Особенно его поразила стоявшая у стены огромная сверкающая горка, вышиной в шесть аршин, сплошь уставленная золотыми сосудами. Против горки висел в золотой раме портрет воина с чуприной, огромными усами самого рыцарски-запорожского вида и полуотрубленным подбородком. Воин этот чрезвычайно ласково и бойко улыбался оставшейся частью подбородка. Длинная, цветистая надпись на золотой доске под портретом свидетельствовала о том, что рыцаря звали Демьян Ксенжицкий, герба *Ostoja*, воеводства Остржетовского, и что он положил начало роду и прозвищу Безбородок. Через несколько минут в комнату, в сопровождении упитанного равнодушного мопса, вошел тучный, грузный человек, с отвисшим подбородком и полуоткрытым ртом, в синем ватном домашнем сюртуке, мягких туфлях с огромнейшими бриллиантовыми пряжками и в белых шелковых чулках, которые мешками висели на толстых ляжках ног. Внешность министра немного успокоила Шта-

алю. Особенно же его почему-то успокоило то обстоятельство, что говорил граф по-русски с малороссийским акцентом.

В руках у министра было рекомендательное письмо Зорича. Содержание письма сильно озадачило Безбородко: Семен Гаврилович красноречиво, но смущенно писал, что юноша, которому он покровительствует, неопытен, бурь мира сего не изведал и еще не искушен в светской жизни; поэтому неудобно было сразу начисто объяснить ему интересующее их всех дело. Пусть он сначала освоится с Петербургом, подышит воздухом двора, побывает на приеме у матушки царицы, – а там «Бог не оставит его милостью, а Ваше Сиятельство – помощью в диффикультах<sup>35</sup>».

Безбородко с недоумением, как на диковинку, смотрел на молодого человека, которому нельзя было объяснить напрямик, в чем дело.

«Ще молода дetyна», – подумал он, оглядев гостя с ног до головы, и взял горсточку табаку из золотой с бриллиантами табакерки.

Внешность юноши ему, однако, понравилась. Граф подтянул привычным движением руки мешки шелковых чулок и внимательно расспросил Штааля о видах на службу. Но ничего путного он не узнал: проклиная свою застенчивость, Штааль сбивчиво и неловко объяснил, что пока еще не выработал никаких предположений.

Александр Андреевич вздохнул и решил предоставить дело воле Божьей. Затем он прочел молодому человеку небольшое житейское наставление общего характера. Как все вышедшие из низов и достигшие высоких степеней люди, он любил говорить о себе. Говорил он хорошо, гладко и книжно, с весьма внушительными интонациями, которым, однако, сильно вредил его малороссийский говор. Да и с внушительных интонаций он порою неожиданным образом срывался.

– Служба наша, сударь, – сказал он, – приятна и видна, но не скоро полезна бывает. Представлять у двора приличную функции фигуру довольно надобно иждивения; где что шаг ступить, то и платить нужно. Про себя скажу: живу хорошо, стол держу на двадцать четыре куверта, а особливо для офицеров на ордонанс, да на секретарей. В Москве, государь мой, уготовляю себе на старость дом преогромный, для отдохновения от бремени трудов. Расходу множество, – добавил он, вздыхая и внезапно утратив важность интонаций, но сейчас же заговорил еще внушительнее прежнего. – В протчем не жалуясь. Ее императорское величество ценит мое усердие и не оставляет поверенностью и предилекцией<sup>36</sup>. Для собственного вашего знания, сударь, скажу, дабы не причли сего в самозванство, что отзывами своими неоднократно всем знатным и приближенным изразить изволила свое отменное ко мне благоволение и уважение к трудам моим. И такое милостивое в рассуждении меня обращение есть величайшим для меня одобрением и утешением.

Здесь он вздохнул опять, понюхал табаку и посмотрел на Штааля, очевидно ожидая ответа. Но, не дождавшись, продолжал:

– Вот и теперь в Яссах, после искусных негоции, подписал я с турками мир превыгодный. Опять же злодеи мои меня марали, будто корыстовался я за подряды провиантские... Дело известное, отлучному человеку нельзя без забот, чтобы сплетни ему не повредили... Хороша была корысть-то в Яссах: отправили меня небогатою рукою. Ну, правда, подарки получались от Порты: бриллиантовый перстень, да табакерка, да часы – тысяч в тридцать станут, не более, – да лошадь, да палатка шитая (но весьма ветхая, – грустно вставил он, опять потеряв внушительность тона), да ковер салоникский, да кофею тридцать семь пудов, да еще бальзаму индийского и менского, табаку, мыла, губки, трубки, амбры и шалей двадцать четыре куска... Много ли радости? Чай, Зубов Платон за это время не такие подарки получил... Как на этот счет

---

<sup>35</sup> Трудности (*франц.* difficultes).

<sup>36</sup> Расположение (*франц.* predilection).

изволите думать, сударь? – значительно спросил он, в упор глядя на Штаалья своими маленькими хитрыми глазками.

Штааль никак об этом не думал. Безбородко разочарованно опять осмотрел его с головы до ног, подтянул чулки и, помолчав с минуту, заговорил по-французски, правильно строя гладкие фразы, но выговаривая их с тем же малороссийским акцентом, который он сохранял во всех языках.

«Уж если ты, хлопец, и по-французски не говоришь, так езжай себе, Грыццо, назад, в Шклов, гонять собак», – подумал он.

Но Штааль говорил по-французски прекрасно, и, услышав его выговор, Безбородко с удовольствием причмокнул полуоткрытым ртом. Граф сказал этому человеку, что устроит ему приглашение в Эрмитаж на *средний прием* в ближайший четверг, а пока советовал поосмотреться немного в Петербурге, поразвлечься, да что ж – беды в ваши лета нет – и покутить.

– Жить, государь мой, милости прошу у меня, – сказал он снова по-русски не допускающим возражений тоном. – Дом большой... А мы с Семен Гавриловичем старые приятели... Ох, порастрясли его гроши проклятые Зеновичи... Ну, да ничего, богат. Шкловское имение – золотое дно... Так, значит, мы и порешили. А чтоб скучно вам не было, я вам дам, сударь, компаньона: добрый хлопец и все вам покажет.

Безбородко велел позвать одного из состоящих при его особе секретарей, необыкновенно щегольски, по последней моде, одетого молодого человека, и поручил ему Штаалья, шепнув предварительно на ухо щеголю несколько слов, от чего тот весело улыбнулся. Штааль откланялся и направился было к выходу. Но Александр Андреевич воротил его от дверей.

– А что, сударь, Лизаньку Сандунову-Уранову видели? – неожиданно спросил он конфиденциальным тоном.

Штааль не знал, кто такая Лизанька Сандунова-Уранова. Безбородко посмотрел на него с большим сожалением, вздохнул и перевел глаза на секретаря, точно призывая его в свидетели.

Секретарь заговорил тоненьким голоском, с какими-то особенно мягкими, влезающими в душу, интонациями и, к удивлению Штаалья, довольно фамильярно:

– Да что Сандунова, ваше сиятельство? Право же, слава одна. Я думаю, ей до *Ленушки* далеко, ваше сиятельство...

Министр с удовольствием понюхал табаку и покачал головой:

– Нет, брат, ты не говори, – сказал он задумчиво. – Ленушка, конечно, отменных телесных качеств женщина... Это ты прав. А все же у Лизаньки Сандуновой груди такие, что и самой Давии не уступит... Ты обратил ли внимание на ее груди?

– Как не обратить, ваше сиятельство. Да и про груди, *ma foi*<sup>37</sup>, одна слава...

– Нет, нет, и не говори, брат. Что ты смыслишь в грудях-то?.. Молодо, зелено...

Безбородко постоял в задумчивости минуту, открыв совершенно рот и приятно улыбаясь; затем, точно что-то вспомнив, повел заплывшей жиром шеей и внушительным тоном, книжной цветистой фразой отпустил молодых людей.

Секретарь Безбородко оказался очень любезным, бывалым и обходительным молодым человеком. Звали его Иванчук (свою фамилию он произнес Штаалю скороговоркой); говорил он вообще быстро, четко и гладко. Только французские фразы, пересыпавшие его речь, выходили у него совсем нехорошо. Выяснилось, что секретарь пользуется особым расположением и доверием графа Безбородко; министр, в знак милости и в исключение из своего общего правила, говорил ему даже «ты». Сам Иванчук называл графа в третьем лице «нет Сашенька» – и это несколько удивило Штаалья. Но из дальнейшего разговора оказалось, что молодой секретарь называет уменьшительными именами почти всех высших сановников столицы. Штааль был очень поражен такой короткой дружбой Иванчука с людьми, занимавшими первые посты в

<sup>37</sup> Право (*франц.*).

империи; сомнение взяло его только тогда, когда секретарь назвал Павликом наследника престола. Иванчук очень быстро сообщил Штаалю множество самых разнообразных сведений о себе и о других. Рассказал, что наш Сашенька находится теперь в упадке. В большом фаворе он, правда, никогда не был и любовником государыни состоял в свое время не больше недели (Штааль раскрыл рот от изумления; Иванчук посмотрел на него, сказал радостно: «как же, как же» – и продолжал свой рассказ). *Oui, il n'y a a'dire*<sup>38</sup>, политическая карьера Сашеньки приходит, кажется, к концу. И это очень жаль, ибо Сашенька премилый человек, сыплет деньгами направо и налево и хоть жалуется на расходы, но на самом деле *il est riche comme un diable*, – богат как черт, – одной мебели с картинами и мрамором у него миллиона на четыре, как же, как же! Певиде Давии он платил ежемесячно восемь тысяч рублей, а на прощанье подарил ей сразу пятьсот тысяч; теперь купает в золоте танцовщицу Ленушку. И жаль, очень жаль, та *parole du gentilhomme*<sup>39</sup>, что Сашенька не поладил с Платоном, ибо Платон теперь всемогущ, мы все против него ничего не значим. А Павлика, вероятно, государыня вовсе устранил от престола, и это будет прекрасно; она знает, что мы все будем этому очень рады. Общество же теперь в столице премилое: самые приятные балы у Лили Строгановой на Дворцовой набережной, – *je vais y vous introduire*<sup>40</sup>. Да еще Саша Белосельский устраивает чудесные небольшие вечеринки и стишки свои читает там премило. Он, кстати, женится на Козицкой и берет большое приданое. Одним словом, – как же, как же, – я вас со всеми перезнакомлю, увидите, все премилые ребята.

Иванчук действительно ввел Штаалю в кружок веселящейся петербургской *молодежи*, состоявший большей частью из богатых, знатных и чиновных людей в возрасте от семнадцати до семидесяти лет. Доступ в этот кружок приобретался, по-видимому, очень легко. Правда, членов кружка, которых Иванчук за глаза называл ласково-уменьшительными именами, в разговоре с ними он почтительно титуловал «Ваше Сиятельство» или «Ваше Превосходительство», а сиятельства и превосходительства, как по всему было видно, едва ли знали его по фамилии. Но ездили с ним по ресторанам и ночным увеселительным местам очень охотно. В тот год была в большой моде петергофская дорога; несмотря на холодную зиму, группы веселящейся молодежи чуть не каждую ночь отправлялись кутить на загородные дачи. Самое приятное времяпровождение было на дачах обершенка Нарышкина, носивших странные названия «Ба-ба» и «Га-га»; там Штааль узнал много совершенно новых вещей, о которых ему не случалось читать даже во французских книжках. Было также большое празднество на Александровой даче под Павловском, где веселое общество любовалось достопримечательностями замысловатого сада. Особенно удивили Штаалю «Храм Флоры и Помоны», «Пещера нимфы Эгерии» и всего больше «Храм Розы без шипов». На плафоне этого храма фрески изображали блаженствующую Россию. Блаженствующая Россия грациозно опиралась на щит с изображением Екатерины; по бокам красовались трубящая Слава и два ангела с крестом. В середине храма на алтаре стояла урна, заключавшая в себе Розу без шипов. Что означала Роза без шипов, оставалось несколько неясным, но, как по всему можно было догадаться, автор мудреной аллегии имел в виду опять-таки императрицу Екатерину. В храмах и в Пещере нимфы Эгерии время тоже проводилось довольно весело. Штаалю было немного совестно так жить, но он для успокоения напоминал самому себе заветы великого Декарта: познать *все*, погрузиться в великую книгу мира. Великая книга мира на этой петербургской главе понравилась молодому человеку. Лыстило Штаалю и то, что компаньонами его по ночным развлечениям были люди с очень громкими, большей частью титулованными именами. Под утро члены кружка обыкновенно отправлялись на маскарад к ресторатору Лиону, у которого собиралось чрезвычайно смешанное общество. Там они как-то, часов в пять утра, встретили Александра Андреевича

<sup>38</sup> Да, ничего не скажешь (*франц.*).

<sup>39</sup> Слово дворянина (*франц.*).

<sup>40</sup> Я вас туда введу (*франц.*).

Безбородко в обществе уличных женщин. Министр был очень навеселе; тем не менее узнал молодых людей, радостно погрозил Штаалу пальцем и сказал ему, подтягивая чулки, так же гладко и красноречиво, как всегда, более или менее подходившее к случаю цветистое слово.

## 6

В честь приехавшего в Петербург московского главнокомандующего Прозоровского граф Безбородко решил устроить обед, пригласив в качестве второго гостя Федора Васильевича Ростопчина.

С этим обедом Александр Андреевич связывал довольно сложную политическую комбинацию. Знаменитый своей жестокостью, старый князь Прозоровский был послан Екатериной в Москву на усмирение масонов и мартинистов. Его назначение было встречено крайне неодобрительно умнейшими сановниками империи. Сам Потемкин, получив незадолго до своей кончины известие о посылке Прозоровского, с гневом писал императрице: «Ваше Императорское Величество выдвинули из вашего арсенала самую старинную пушку, которая будет непременно стрелять в вашу цель, потому что своей собственной не имеет, берегитесь только, чтобы она не запятнала кровию имя Вашего Величества в потомстве».

Не сочувствовал в глубине души деятельности князя Прозоровского и Безбородко. Его самого государыня послала недавно в Москву с секретной миссией по делам о мартинистах, – и он там занял очень осторожную, выжидательную позицию. Однако Александр Андреевич давно усвоил себе привычку не критиковать вслух распоряжений верховной власти. Кроме того, Прозоровский свою миссию выполнил в Москве вполне успешно: масонство и мартинизм были искоренены, а Николай Иванович Новиков взят под стражу, привезен в Петербург и заключен, после допроса у Шешковского, в Шлиссельбургскую крепость. Граф Александр Андреевич имел обыкновение считаться с успехом. Он находил поэтому нужным несколько подогреть свои отношения с Прозоровским и с теми придворными кругами, которые выдвинули кандидатуру князя. Но было еще и нечто другое.

Безбородко знал, что московскому главнокомандующему была дана императрицей секретная инструкция выяснить путем розыска, находился ли в тайных сношениях с мартинистами великий князь Павел Петрович, которого в обществе считали масоном. Розыск, однако, не дал положительных результатов, хотя Прозоровский и доносил, что преступники всячески улавливали в свою секту «известную по их бумагам особу».

Вопрос о Павле Петровиче чрезвычайно тревожил Безбородко. Все хорошо знали, что наследник престола ненавидит свою мать и ждет не дождется ее смерти для того, чтобы расправиться по-своему с любовниками и любимцами императрицы. Александр Андреевич едва ли мог считаться любимцем, особенно в последнее время, но он сделал огромную карьеру при Екатерине, а потому имел основания серьезно тревожиться за свою судьбу в случае воцарения великого князя. Между тем государыне шел шестьдесят четвертый год... А в возможность устранения Павла Петровича от престола Александр Андреевич верил плохо.

Федор Васильевич Ростопчин, будущий московский главнокомандующий 1812 года, был любимцем наследника и имел все шансы сделаться в его царствование самым влиятельным человеком в империи. По этим соображениям Безбородко считал чрезвычайно полезным поддерживать с Ростопчиным добрые отношения. Он знал вдобавок, что Федор Васильевич уж никак не масон, не мартинист, не революционер и не жакобен, а человек вполне благонамеренный, хоть своенравный и сварливый. Интимный обед в доме Александра Андреевича должен был сблизить Ростопчина с Прозоровским, что, вероятно, несколько успокоило бы Екатерину насчет сношений Павла с мартинистами; а через Федора Васильевича граф надеялся – пошли Господь долгие дни ее величеству – поднять свои шансы при гатчинском дворе наследника престола.

Кроме двух почетных гостей на обеде были только свои: доверенные секретари, в том числе Иванчук, а заодно и Штааль, которого хозяин тоже считал нужным *менажировать*, ибо любил страховать и перестраховывать себя на случай всяких событий.

Обед – очень простой – удался на славу. Безбородко даже в Москве считался знаменитым хлебосолом, и приемы в его огромном московском доме соперничали в славе с обедами Алексея Орлова, князя Голицына и графа Остермана.

Александр Андреевич сам наливал водку в золотые рюмки. За обеденным столом в графе Безбородко политический деятель, министр и придворный уступали первое место хлебосольному барину, представлявшему даже не русское, а малороссийское гостеприимство, уж совершенно граничившее с чудесным. В деле угощения гостей Александр Андреевич не делал никакой разницы между Иванчуком и князем Прозоровским, с одинаковой любовью рекомендуя обоим разные простые и замысловатые закуски.

– У нас в Глухове поп говорил: «из легких вин прѣдпочытаю коньяк; оно и вкусно, и не хмѣльно», – сказал Безбородко. Он этой прибауткой к водке неизменно открывал всякий обед.

Князь Прозоровский, сухой старик, точно находившийся в быстром процессе закаливания, слегка покривил лицо, что у него означало улыбку. Ростопчин снисходительно улыбнулся, подставляя под пахучую струю золотую рюмку, и хотел было сказать какое-либо, подходившее к случаю, народное великорусское словцо, но ничего не мог вспомнить.

Федор Васильевич Ростопчин, несмотря на свой молодой возраст, занимал в петербургском высшем свете особое и очень почетное положение. Человек большого ума, хорошо образованный, злой, остроумный, разъедаемый честолюбием, одновременно большим и мелким, по-актерски даровитый и по-актерски тщеславный, он не мог найти применения своим силам при дворе императрицы Екатерины: там имели успех люди либо красивее, либо покладистее, либо старше и заслуженнее, чем он. Кроме того, Ростопчин по характеру в любых политических условиях должен был бы принадлежать к оппозиции. Он не любил и не уважал Екатерину, и все дела ее царствования представлялись ему низкими или бессмысленными – даже тогда, когда они не были ни бессмысленны, ни низки. Но хотя по умственным своим силам, по своему безмерному честолюбию, по тому положению, которое он сумел себе создать в обществе, Федор Васильевич мог стать серьезным противником для власти, – эта роль не приходила ему в голову; оппозиция его была очень осторожной; людей же посмелее, чем он сам, он называл безумцами и всячески их высмеивал (как впоследствии высмеивал декабристов, хотя ненавидел и презирал Александра I). Ростопчин примкнул к партии Павла Петровича или, вернее, составлял эту партию. Он отлично знал, что наследник престола – человек душевно поврежденный; но связал с ним свою политическую карьеру в пику императрице и назло челяди Эрмитажа. Федор Васильевич всю свою жизнь прожил кому-то в пику и кому-то назло. Он и Москву поджег (или способствовал ее пожару) назло – отчасти назло Наполеону, а еще больше назло Кутузову. Когда Ростопчина впоследствии осыпали бранью за сожжение Москвы, он приписывал это дело всецело себе (без большой, впрочем, внутренней уверенности) и называл его величайшим подвигом, достойным героев Рима. Когда же «*cet acte barbare mais magnifique*»<sup>41</sup> стал вызывать восхищение у французов посленаполеоновского периода, Ростопчин печатно доказывал, что и не думал поджигать Москву. Вся жизнь его – бесплодная, одинокая и несчастная – была сплошное противоречие. Он был нежный семьянин, но отказался от родного сына и, несмотря на свое богатство (полученное им от Павла, который *вознаградил его за бескорыстие*), позволил заключить молодого человека в долговую тюрьму. Он всей душой ненавидел Францию и французов, но прожил долгие годы в Париже, думал или старался думать по-французски и ни за что не написал бы письма на другом языке, кроме тщательно отделанного и отточенного французского. Он был англоман, но с англичанами скучал чрезвычайно, а в Англии

<sup>41</sup> «Этот варварский, но великолепный поступок» (*франц.*).

не мог прожить более нескольких недель. Русский народ он презирал совершенно и весь был полон сословных дворянских предрассудков; но любил говорить на простонародном русском наречии и даже создал свое простонародное русское наречие, которого простой русский народ не понимал. Уверял, что равнодушен к жизни и нисколько не боится смерти, но постоянно разъезжал по водам, тщательно оберегая здоровье (болезнь ему была послана самая непоэтическая – геморрой, – и это очень его угнетало). Одаренный несомненным литературным талантом, тонкий наблюдатель событий и злой ценитель людей, он почти ничего не оставил после себя, но тщательно отделявал разные французские афоризмы, относившиеся главным образом к его собственной личности, годами выдерживал их у себя в ящике письменного стола и вставлял в разговор, когда была возможность, выдавая их за экспромты. Он всячески демонстрировал свою ненависть к Наполеону и уверял других и себя, будто французский император также его ненавидит: *личная вражда с Наполеоном* поднимала его престиж, – он прекрасно это чувствовал. Престижем он дорожил чрезвычайно. На самом деле, несмотря на свои выдающиеся дарования, Федор Васильевич Ростопчин и на политическом, и на военном, и на придворном поприще был до конца своих дней – неудачник.

На обеде у графа Безбородко Ростопчин не имел достойных собеседников, не старался вставлять в разговор экспромты и скучал. Приехал он на обед по соображениям высшей политики (Павел еще не царствовал), но именно поэтому был недоволен собой и делал усилия, чтобы не наговорить неприятных и неосторожных вещей. С Прозоровским шутить не приходилось.

За борщом со сметаной (борщ лучше этого, по словам Александра Андреевича, умела готовить только в Глухове его мать Безбородчиха) хозяин считал неуместными какие бы то ни было разговоры, кроме непосредственно относящихся к еде. Борщ был сам по себе слишком серьезным делом для того, чтобы с чем-либо его совмещать; только когда на ломящийся от золота стол было подано жаркое (впрочем, также совершенно необыкновенное), Александр Андреевич нашел возможным приступить к политической беседе. Он начал издали, с французской революции – и ругнул ее как следует, но без горячности. Тон по отношению к этому событию был принят у петербургских сановников благодушно-иронический: вся, мол, так называемая революция – пустяки, просто не было хозяйской руки, а послать сотню-другую наших казачков, живо бы выбили дурь из французишек. Граф Безбородко обстоятельно развил эту мысль и кое-что еще добавил от себя применительно к данному случаю: какая, право, жалость, что не нашлось во Франции – а ведь большая страна! – человека, подобного нашему князю Александру Александровичу: всю бы революцию точно рукой сняло.

Польщенный Прозоровский снова изобразил на лице что-то отдаленно напоминавшее улыбку.

Затем Безбородко распространился об отклике событий так называемой французской революции у нас в России – и опять начал издали: так как говорить надо было о Новикове, то он заговорил о Радищеве.

– Известна, мыслю, и вам, государь мой, Федор Васильевич, – сказал он, обращаясь преимущественно к Ростопчину, ибо князю Прозоровскому все это было, наверное, хорошо известно, а с молодежью разговаривать не стоило, – известна, мыслю, и вам выданная недавно книга под заглавием «Путешествие из Петербурга в Москву». Ее величество оную читать изволила и, нашед ее наполненною самыми вредными умствованиями и дерзостными изречениями, производящими разврат, указала... Так, сударь, – обратился он вдруг к Штаалу, – есть у меня не полагается, барашка еще кусочек извольте взять... указала исследовать о сочинителе сей книги. Сочинителем книги есть Радищев, советник таможенный. Слыл человеком изрядным и бескорыстным, но, заразившись, как видно, Францией, стал проповедовать равенство и бунт против помещиков, да еще пренеприличную впутал в книгу оду, где озлился на царей и Кромвеля аглицкого хвалил, что «научил он в род и роды, как могут мстить себя народы».

Шельма этакий, – добавил с удовольствием Безбородко, – а еще владимирский кавалер... Шалун обер-полицеймейстер Никита Рылеев цензуровал сию книгу и, не читав ее, возьми да благослови. Со свободой типографий да с глупостью полиции не усмотришь, как нашалят, – сказал граф и решил передохнуть от речи, жаркого и борща, в ожидании того, что скажут гости.

– Да, ведь они неисправимы, – заметил, пожимая плечами, Ростопчин.

Князь Прозоровский издал неопределенный звук.

– Сей Радищев есть сущий жакобен! – горячо воскликнул Иванчук, ловя взгляд князя (в присутствии такого важного гостя и на такую важную тему секретарь считал нужным говорить высоким слогом).

Штааль слушал растерянно: имя Радищева было ему незнакомо, но разговор, очевидно, шел о той самой книге, которая так понравилась ему в *детскую* пору.

Александр Андреевич подлил гостям вина и продолжал:

– Сочинитель развратной книги, оный Радищев, взят под стражу и Сенатом, по силе воинского устава 20-го артикула, к смертной казни присужден. Ее величество, матушка императрица, по ангельской своей доброте (Безбородко вздохнул и поднял глаза к небу, но, увидев на потолке столовой изображение разрезанной жирной утки, снова стал накладывать жаркого гостям и себе)... по ангельской своей доброте приговор сей не конфирмовала, но смягчила, хоть молвить изволила – и совершенная правда, – что оный Радищев есть хуже Пугачева. Ан теперь вон какое вышло в Москве зловерное дело и новое колобродство. Новикова, Николая Иванова, знать изволили? – обратился он снова к Ростопчину, касаясь наконец того предмета, для которого был устроен обед.

Князь Прозоровский поднял от тарелки свои мутно-стеклянные глаза.

– О деле слышал, но знаком не был, – поспешно ответил Федор Васильевич.

Безбородко перевел взор на Прозоровского, точно приглашая его занести куда следует это свидетельское показание.

– И слава Господу Богу, государь мой, Федор Васильевич, – продолжал он удовлетворенно, – что не знали сего ханжи, – опасного ли, не знаю, но скучного весьма, – кой ныне князем в ничтожество приведен...

– В подмосковной своей деревне Авдотьино, – сказал Прозоровский, мутно глядя на Ростопчина, – государственный преступник Новиков по моему приказу воинскою силой, эскадром полицейских гусар под начальством Жевахова князя арестован. Ныне же волею ее величества на пятнадцать лет посажен в Шлюссельбургскую крепость. Опасности более нет...

Безбородко поперхнулся рейнским вином. Он вспомнил, как Кирилл Григорьевич Разумовский, известный своим остроумием и независимостью мысли, издевался над экспедицией князя Жевахова: «Чем расхвастался старый дурень Прозоровский: старика больного арестовал, точно Силистрию взял!»

Иванчук очень бойко и громко заявил, что, к счастью, с мартинистами и масонами покончено раз навсегда. Его сиятельство имеет в этом деле огромную заслугу перед отечеством. Не нужно забывать также старание, проявленное помощником князя, Степаном Иванычем Шешковским, которого мы все знаем, любим и уважаем.

Безбородко сначала с неудовольствием поглядел на Иванчука, – такому молодому человеку, по его мнению, не следовало вмешиваться в разговор сановников, – но успокоился, увидев благосклонный взгляд, который бросил на секретаря князь Прозоровский. «Шустрый, шельма, – подумал он, – далеко пойдет – наш брат, глуховский. Не то что тот мальчуган из школяров Семена Гавриловича».

Ростопчин с кривой усмешкой посмотрел на Иванчука. Он начинал раздражаться.

– Похвально, – сказал хрипло Прозоровский. – У Шешковского Степана ругателей много. Называют кровопийцей... Неправда!.. Почтенный человек... Царский слуга!

– *Кнутобойничает* малость, говорят, ваше сиятельство, – заметил с усмешкой Ростопчин. – В его деле, конечно, без кнута трудно. Mais il paraît que le brave homme exagère<sup>42</sup>.

– Не кнутобойничает, – прохрипел Прозоровский. – Ложь! Ругателей много, верных слуг престолу мало!

Безбородко с тревогой посмотрел на гостей и поспешно заговорил опять. Его гладкая мягкая речь немедленно внесла успокоение. Он с большой похвалой отозвался о свойствах князя Прозоровского, затем отдал должное уму Федора Васильевича, которого ждет такая блестящая карьера: «Всех нас затмите, сударь, как утро затмевает вечер» (Александр Андреевич почувствовал, что этот образ у него не вышел, но продолжал еще более плавно). Ругнул опять французскую революцию, ругнул и мартинистов, поспешил отметить, что великий князь, как всем известно, вполне одобряет политику государыни императрицы, очень похвалил также отменные качества великого князя. И выразил, наконец, полное душевное удовлетворение по поводу того, что они втроем, у него в доме, так хорошо обо всем поговорили и что князь Александр Александрович и Федор Васильевич сразу вполне оценили друг друга. В заключение речи он налил гостям по полному кубку какого-то удивительного вина и заставил их выпить.

Ростопчин хмуро слушал. Он понимал, что нужно Александру Андреевичу и для чего устроен обед. Федор Васильевич сам считал необходимым несколько реабилитировать себя в кругах близких к императрице. Но ему было досадно, что он вынужден поддерживать общение с ничтожными людьми, – особенно с этим выжившим из ума старым тираном. Зато Ростопчин предвкушал удовольствие от сатирического письма, в котором на своем прекрасном французском языке он опишет графу С.Р. Воронцову отвращение, внушенное ему личностью Прозоровского. «Только и есть из русских два европейца: Воронцов и я», – подумал он.

– Достоин удивления, – сказал Иванчук, – что русские жакобены – люди нашего круга, les gens de notre rond, такие же дворяне, как мы все: Радищев, Новиков, Ладыженский, Трубецкой, Тургенев. Tres bons noms, ma foi<sup>43</sup>.

Ростопчин, с отвращением выслушавший французскую фразу Иванчука, подумал, что из этого замечания, отточив и приправив его как следует, можно будет при случае сделать недурной афоризм, – надо запомнить. Безбородко тоже воспользовался словами молодого секретаря и навел разговор на тему, которая должна была всем понравиться: он попросил Федора Васильевича объяснить ему свою родословную.

– Мы приходим, – сказал небрежно Ростопчин, – от Федора Давидовича Ростопчи, знатного татарского вельможи, кажется, ханского, то есть царского, происхождения, который выселился из Крыма в Россию при...

Александр Андреевич слушал, изобразив на лице восхищение, и замечал про себя, что самого умного человека можно поддеть на какую-либо глупость: «Ведь все ты врешь, сударь, – думал он. – Вряд ли существовал в Крыму Федор Давидович Ростопча, а если существовал, то не важная был, проклятый нехристь, персона: верно, такой же, если не хуже, разбойник, как мой Демьян Ксенжницкий, герба Ostoja, Остржетовского воеводства».

## 7

*Средний Эрмитаж* уже начался, когда позолоченная восьмистекольная карета графа Безбородко остановилась против Брюсовского дома, у правого малого подъезда дворца. Ловко соскочивший первым Иванчук помог вылезти министру; за ними в плохо освещенный подъезд вошел, замирая, Штааль. Александр Андреевич, отдавая свою шубу, прочел накинувшимся на него лакеям подробное наставление о том, как надо с ней обращаться, да еще особо приказал

<sup>42</sup> «Этот варварский, но великолепный поступок» (франц.).

<sup>43</sup> Лучшие фамилии, клянусь честью (франц.).

своему гайдуку-хохлу *примоститься* к шубе, внимательно за ней следить и не отходить от нее ни на шаг. Граф говорил таким тоном, будто он попал не во дворец, а в разбойничий притон. Безбородко весь сиял бриллиантами своей Андреевской звезды, погона для ленты, пуговиц мундира и пряжек башмаков; тем не менее общий вид его был ненамного изящнее, чем обыкновенно. Александр Андреевич, чувствовавший себя во дворце точно дома, сначала куда-то отлучился, а потом уверенно пошел, переваливаясь, по лестнице наверх. Молодые люди последовали за ним. Иванчук вполголоса называл Штаалю покои дворца. Но Штааль в первые минуты ничего не замечал. У него разбежались глаза от дворцового великолепия. Все внимание его было устремлено на то, чтобы не свалиться на необычайно скользком, натертом до пределов возможного, паркете и как-нибудь не *войти* в одно из предательских, огромных, во всю стену, зеркал, которые только в последнюю минуту неожиданно отражали его собственную фигуру, казавшуюся ему в отраженном виде очень маленькой и затерянной. Молодого человека привел в себя внезапно пахнувший на него теплый оранжерейный запах цветов. Они входили в зимний сад Эрмитажа. Гостей было еще немного: Безбородко любил приезжать рано. Граф остановился у чахлого деревца, послушал с открытым ртом пение канарейки и затем пригласил Иванчука в свидетели того, что у них в Глухове соловьи поют гораздо лучше. Иванчук постарался этого не расслышать и, воспользовавшись минутой, когда Безбородко стал радостно здороваться с каким-то свитским генералом, увлек Штаалю за собой. Он показал ему обе гостиные Эрмитажа, столовую, чудесный маленький театр с надписью на сцене: *ridendo castigat mores*<sup>44</sup> – и, наконец, длинную картинную галерею, где сразу оглушил юного провинциала именем Рафаэля. Штааль мало смыслил в картинах, но знал, что Рафаэль в живописи – все равно как Суворов в военном деле: лучше не бывает. Он принялся восхищаться рафаэлевскими фресками. На этом занятии его застал хватившийся их Безбородко. Александр Андреевич, как ни странно, был большой знаток живописи и галерею Эрмитажа знал превосходно. Штааль поспешил выразить свой восторг перед фресками.

Безбородко снисходительно объяснил ему, что это не подлинный Рафаэль, а копия с ватиканского Рафаэля, правда, очень хорошая, сделанная по особому заказу Райфенштейном. «И славные гроши сорвал шельма немец», – с удовольствием добавил он. Обескураженный этим эпизодом, Штааль отошел от фресок, сел, по возможности непринужденно, около двух одинакового вида старичков в придворных мундирах и стал слушать их мирную беседу.

Галерея, зимний сад и гостиные Эрмитажа постепенно наполнялись. Нервно теребя пуговицу своего камергерского мундира, в зал вошел Федор Васильевич Ростопчин. Его появление произвело в публике небольшую сенсацию: как человек враждебного гатчинского мира, тесно связавший свою политическую карьеру с судьбой Павла Петровича, он в Эрмитаже появлялся не часто и не пользовался большими симпатиями при дворе императрицы. Ростопчин, видимо, наслаждался тем, что на мгновение стал предметом общего внимания. Холодно-учтиво здороваясь с гостями, он остановился перед «*L'enfant prodigue*»<sup>45</sup> и, отступивши на два шага от стены, посмотрел на полотно под согнутую кисть руки. Все движения его казались неестественными Штаалю. Картиной Сальватора Розы Ростопчин любовался недолго: заметив одиноко стоящего у окна седого старика, он поспешно направился к нему и поздоровался с ним совсем не так, как с другими.

На этого красивого старого человека Штааль еще раньше обратил внимание. И в лице его, и в темной простой одежде было что-то, выделявшее его из толпы других гостей. Иванчук, знавший вся и всех, назвал ему этого гостя, с особенным удовольствием выговорив его фамилию. Фамилия точно была звучная: старик носил одно из самых знаменитых имен французской знати; это был недавно прибывший в Петербург эмигрант.

<sup>44</sup> Смехом исправляют нравы (*лат.*).

<sup>45</sup> «Блудный сын» (*франц.*).

Он поздоровался с Ростопчиным с той особой изысканной учтивостью, которая создала в мире штампованное слово «*politesse francaise*»<sup>46</sup> и которая в действительности свойственна только старым, хорошо образованным и много жившим французам. Эмигрант раза два в жизни видел Ростопчина; но приветливая улыбка, немедленно появившаяся на его тонком усталом лице, выразила необычайное удовольствие по поводу встречи с Федором Васильевичем. Ростопчин оживленно заговорил, намереваясь сервировать этому выходцу старого Версаля свои отточенные французские *экспромты*, которых в Петербурге никто не мог оценить по достоинству.

– Что, или скучаете, сударь? – спросил Штааля появившийся за его креслом Безбородко. – Государыня нынче опоздала, верно, много изволила покушать: сегодня было к обеду, сказывают, вареное мясо с огурцами. Очень матушка любит это блюдо, за что ее хвалю, хоть наш борщ будет повкуснее.

Он поздоровался с двумя одинаковыми придворными старичками, пошутил с ними, представил им Штааля, на которого они не обратили ни малейшего внимания, и затем, увидев у окна Ростопчина с французским эмигрантом, взял слегка упиравшегося молодого человека под руку и направился с ним к окну.

– Вот познакомлю вас, сударь, – сказал он по дороге, – преумный старик! Таких людей у нас днем с огнем не сыскать.

Как раз когда они подходили, Ростопчин нашел случай вставить в разговор один из своих экспромтов:

– J'ai de l'éloignement pour les sots et pour les faquins, pour les femmes intrigantes qui jouent la vertu; un degout pour l'affectation, de la pitié pour les hommes teints et les femmes fardees, de l'aversion pour les rats, les liqueurs, la metaphysique et la rhubarbe, de l'effroi pour la justice et les betes enragees...<sup>47</sup>

На губах старого эмигранта, который, наклонив голову, слушал Ростопчина, появилась легкая одобрительная усмешка, показывавшая, что он вполне оценил остроумие и тонкость услышанной мысли. Но в глазах его промелькнуло и сейчас исчезло выражение усталости, не скрывшееся, однако, от Федора Васильевича. Ростопчин почувствовал, что никакими изящными экспромтами, никакими отточенными афоризмами нельзя удивить этого старика, бывшего собеседником Вольтера. Лицо графа Безбородко расплылось в приятнейшую улыбку; он даже зажмурил глаза, точно услышал звуки бандуры. Почмокав губами, он представил старому эмигранту Штааля – и опять на лице старика появилось такое выражение, будто никакое знакомство в мире не могло доставить ему больше удовольствия. Он поклонился незнакомому юноше совершенно так же, как в свое время кланялся Людовику XV, и просто, уверенно произнес любезную фразу комплимента. Очарованному Штаалю невольно показалось, что, как птице естественно петь, так этому версальскому старику естественно говорить изысканные тонкие фразы.

Безбородко познакомил молодого человека и с некоторыми другими гостями. Представил его шталмейстеру Льву Александровичу Нарышкину, брату обершенка, владельца дач «Баба» и «Га-га», известному шутнику и любимцу Екатерины. Представил и Гавриле Романовичу Державину, сидевшему молча в углу и мечтавшему о том, чтоб была к ужину стерлядь. Штааль попытался было сказать знаменитому сочинителю тонкий комплимент вроде того, который он сам только что услышал от французца. Но и комплимент вышел сбивчивый, и Державин хмуро посмотрел на юношу: любил быть при дворе сановником, а не поэтом. Штааль пошел бродить

<sup>46</sup> «Французская учтивость» (*франц.*).

<sup>47</sup> Я избегаю дураков и наглецов, легкомысленных женщин, играющих в добродетель, у меня вызывают брезгливость и жалость крашенные мужчины и развращенные женщины, я испытываю отвращение к крысам, к ликерам, к метафизике и ревню и ощущаю страх перед правосудием и перед разъяренными животными... (*франц.*)

по галерее, необычайно интересуясь картинами. Иванчук точно назло не подходил к нему: он перебегал от одной группы к другой и везде, оживленно жестикулируя, вступал в беседу.

Вдруг все гости встали, и гул говора сразу замолк. «Вот и матушка», – равнодушно пояснил Штаалю поймавший его снова Безбородко и стал грузно пробираться к появившейся в дверях, в сопровождении молодого красивого офицера, невысокой старухе. Штааль смотрел во все глаза на вошедшую и не мог поверить, что перед ним великая Екатерина. Появлению императрицы, по его предположениям, должны были предшествовать драбанты, герольды, пажи. Ничего этого он не видел. А главное, сама Екатерина оказалась совершенно не такой, какой он себе ее представлял. Ничего похожего в ней не было ни на Фелицу, ни на ту прекрасную величественную даму, портрет которой висел в кабинете графа Зорича. Была толстая, румяная, усиленно-прямо державшаяся старуха довольно благообразного, но очень обыкновенного вида, немного похожая на экономку-немку, служившую, недалеко от Шклова, в доме помещика Киселевского. На императрице было парчовое платье так называемого молдаванского фасона, украшенное андреевской, георгиевской и владимирской лентами. Она ласково улыбалась мужчинам и быстро окидывала взором молодых женщин, беспокойно оглядываясь на вошедшего с ней молодого офицера. Это был граф Платон Зубов. Со скучающим видом, зевая, он рассматривал общество, небрежно кивая в ответ на почтительные поклоны наиболее важных гостей. Впереди Льва Нарышкина к руке императрицы подходил Ростопчин. Екатерина улыбнулась ему несколько холоднее, чем другим, и ничего не сказала, когда он по-придворному целовал ей руку, не подняв последней ни на вершок, а низко, на уровень талии, опустив свою голову к руке императрицы. Штааль мог еще увидеть, как Ростопчин с достоинством поклонился Зубову, который не удостоил его даже самым легким кивком в ответ; при этом желчное геморроидальное лицо Федора Васильевича дернулось, точно от острого припадка зубной боли. Он круто повернулся, злобно покосился на окружающих и отошел. С Нарышкиным императрица поздоровалась гораздо ласковее. Он долго, сочно и несколько раз поцеловал руку Екатерины, а затем, фамильярно повернув ладонь кверху и заметив: «Уж мне, старику, матушка, позволь!» – поцеловал в то место, где бьется пульс. Императрица, смеясь, выдернула руку.

– Будет уше тебе, старый грешник, – ласково сказала она.

Штаалья поразил ее голос, совершенно мужской баритон, и резкий немецкий акцент, и то, что в верхней челюсти у нее не хватало широкого переднего зуба, отчего улыбка придавала ей неприятный, очень старческий вид. Как раз в ту минуту, когда он делал это наблюдение, Безбородко представил его императрице. Государыня окинула молодого человека с ног до головы довольно продолжительным взглядом и, ласково улыбнувшись, протянула ему руку. Он очень неловко, совсем не по-придворному, совершил обряд поцелуя, после чего Екатерина – к большому его смущению – потрепала его по щеке.

– Совсем ешо мальшик, – сказала она, ни к кому особенно не обращаясь. – Ошень вам рада. Надеюсь, што вам моя хишина нравиться будет.

Зубов хмуро посмотрел на Штаалья, на Безбородко, на императрицу. Штааль поспешил отретироваться. К большому его удивлению, к нему стали подходить и представляться придворные. Подошли в числе других два одинаковых старичка, которые четверть часа тому назад не обратили на него никакого внимания, и тепло пожали ему руку. А один из них даже позвал его на обед.

– Милости прошу к нам запросто хлеба-соли откушать, очень будем рады, – с чувством несколько раз сказал он.

Нарышкин настойчиво убеждал императрицу прочесть какое-либо из ее новых произведений в стихах. Екатерина, скромно улыбаясь, отказывалась.

– Матушка, благодетельница, родимая, золотая, ваше величество, – скороговоркой говорил Нарышкин, – ну, прочти, ну, что тебе стоит, ну, оживи душу, Бога ради!

Окружавшие гости единогласно присоединились к просьбе шталмейстера.

– Ну, хоть монолог Навилии прочти, – убеждал Лев Александрович. – Батюшки, отцы родные, что за монолог! Какой монолог! И зачем ты Шакеспеару подражаешь? Что против тебя Шакеспеар! Ну, прочти, ну, вот это место:

Вселившийся давно в утробу яд мою,  
Кой производишь толь в ней лютость всю твою!..

Ну, как дальше? Прочти, родная! Видишь, мы все ждем.

Гости точно ждали, застыв от восхищения. А Гавриил Романович Державин даже зажмурил от восторга глаза, услышав два прочтенных Нарышкиным стиха императрицы.

Екатерина, отказавшись читать свои стихи, любезно заговорила с французским эмигрантом.

– Il parait que les choses ne vont pas bien chez vous... – сочувственно кивая головой, сказала она. – Quelle infortune, Monsieur! Vous nous direz vos impressions?<sup>48</sup>

– Inian dum regina jubes renovare dolorem<sup>49</sup>, – произнес с усмешкой старик.

Екатерина одобрительно улыбнулась, хотя не поняла ни слова из цитаты и даже не разобрала, на каком она языке (эмигрант произносил по-французски: энфандом режина).

– Comme c'est vrai!.. – сказала она. – Que vos impressions doivent etre interessantes! Nous vous ecoutons. Monsieur<sup>50</sup>.

Эмигрант начал было говорить, но императрица немедленно его перебила; на лице мгновенно замолчавшего старика проскользнуло изумление: он не привык к тому, чтобы его прерывали в разговоре. Екатерина высказала ряд общих соображений о французской революции. По ее мнению, движение это не представляло серьезной опасности. Тем не менее иностранные державы должны принять некоторые меры предосторожности – особенно в деле воспитания подрастающих поколений: молодежи надо давать самое строгое моральное и религиозное воспитание. Надо служить ей примером. Надо, чтобы молодые люди видели перед собой честную добродетельную жизнь. И она с сожалением принуждена констатировать, что, например, в России иностранные гувернантки далеко не стоят на должной высоте; в большинстве это женщины безнравственные, подающие юношам и особенно девушкам самый дурной пример.

По лицу Ростопчина скользнула злая усмешка. Александр Андреевич Безбородко, одобрительно зачмокав губами, громко сказал: «А что я говорил!.. Святая истина! Совершенно справедливо!» – и хотел было сам произнести – в развитие мыслей императрицы и в связи с французской революцией – небольшое слово о развратном поведении иностранных гувернанток. Но граф Зубов бесцеремонно его перебил и капризным голосом сказал императрице:

– Оп-пять сегодня нет спектакля... Я жел-лаю играть в рокамболь.

Екатерина беспокойно обернулась и, ласково кивнув эмигранту, направилась к карточному столу. Зубов, зевая, последовал за ней. Все почтительно перед ним расступались. Началась игра. В разных углах галереи загудел оживленный разговор.

Старый эмигрант опять отошел к окну и оттуда обводил залу далеким безучастным взглядом. Его искушенный глаз потомка десяти придворных поколений механически подмечал все: плохое освещение дворца, дурные гобелены на стенах, неловкость прислуги... В маленьком домике Петра было, по его мнению, больше великодержавности, чем в этой подделке под что-то, не очень заслуживавшее подражания. Блеск и роскошь Эрмитажа, так поразившие Шталя, казались почти бедными старику: он вырос при дворе Людовика XV, знал Версаль с его

---

<sup>48</sup> Кажется, у вас не все благополучно... Какое несчастье, сударь! Вы нам расскажете о своих впечатлениях? (франц.)

<sup>49</sup> Не бреди печалей словами, царица (лат.).

<sup>50</sup> Как это верно!.. Как должны быть интересны ваши впечатления! Мы вас слушаем, сударь (франц.).

сорокаmillionным бюджетом и с четырьмя тысячами человек штата. Праздники молодых лет тоскливо вспоминались эмигранту. Он думал о том, что остался на старости без пристанища, без близких людей, без денег; думал, что ехать ему некуда, а жить негде, нечем и незачем; что в этой странной молодой стране эти чужие люди, которые во многом не уступят завсегда- таям залы *Oeil de Voeuf*<sup>51</sup>, так же равнодушны к бедствиям Франции, как к тяжелой участи ее изгнанников; что люди эти считают себя его благодетелями, да, пожалуй, и правы, ибо человек, потерявший родину, – тот же нищий. Думал, что Эрмитаж, вероятно, рано или поздно постигнет участь Версаля и что урок Версаля ничему не научил Эрмитаж. Думал, что и сам он совершенно напрасно когда-то ездил с Лафайетом в Америку бороться за чью-то свободу: ведь и он, и Лафайет, и другие свободолюбивые аристократы получили от народа такое же выражение благодарности, как завзятые, закоренелые реакционеры... Думал, что за Екатерину России придется платить, как теперь они платят за гаремы Людовика XV.

И вдруг ужасное видение сентябрьской резни роялистов, раздетый изуродованный труп милой принцессы Ламбаль, который позорили на его глазах, с необыкновенной ясностью встали в памяти старого эмигранта. Лицо его искривилось и побледнело...

Было десять часов вечера. Ужин кончился. Кончилась и партия рокамболя. Императрица встала из-за стола, шуточно расплачиваясь и поздравляя князя Зубова с выигрышем. Как раз в эту минуту Безбородко неожиданно взял Штааля под руку и быстро провел его перед государыней, сказав ему тихо и сердито: «Держитесь, государь мой, ровнее!» Екатерина опять, ласково улыбаясь, подарила молодого человека продолжительным взглядом. В ту же минуту Штааль почувствовал на себе злой, холодный взгляд красивых глаз графа Платона Зубова.

Ее величество, сделав три небольших поклона, – налево, направо и перед собой, – ушла с Зубовым во внутренние апартаменты. Гости, вставая, шептались.

В позолоченной карете графа Безбородко Иванчук, против обыкновения, сосредоточенно молчал. Зато Александр Андреевич был настроен чрезвычайно весело. Он шутил, смеялся, острил. Не доезжая до своего дома, граф вдруг обнял Штааля, защекотав лицо молодого человека соболями своей шубы, и спросил, обращаясь на «ты», не нужно ли ему денег.

## 8

День Екатерины, как всегда, начался рано. Ровно в семь часов утра ее разбудила Марья Саввишна Перекусихина. Одновременно из стоявшей в спальне корзинки медленно, с достоинством, выкарабкалась левретка, по имени Герцогиня Андерсон, подошла к постели императрицы, потянулась, низко опустив голову, и, положив передние лапки на край постели, умильно посмотрела на хозяйку. Как все немки, Екатерина обожала животных. Она порывисто подняла к себе собачку, с наслаждением ее поцеловала, – заговорила с ней на том непонятном, сладком наречии, на каком женщины говорят с животными, и наконец положила ее к себе под теплое одеяло, выпустив из-под него только острую мордочку зачавкавшей от удовольствия Герцогини. Марья Саввишна гадливо отвернулась и демонстративно толкнула левретку через одеяло в бок, подавая царице тарелку с гладко отшлифованным куском льда. Екатерина вытерла им свое лицо, мазнула льдом по носу Герцогиню Андерсон и покатила со смеху. Приятно вспомнила о красивом молодом человеке на среднем приеме; затем спросила Перекусихину, что князь, как поживает и ничего ли с ним не случилось дурного. Оказалось, что с Зубовым ничего не случилось.

– Ништо ему: дрыхнет, матушка, устал, видно, вечер, – бойко ответила Перекусихина.

Императрица радостно улыбнулась. Они с Перекусихиной очень любили друг друга и никогда ни за что одна на другую не обижались.

<sup>51</sup> Бычий глаз (франц.).

Спустив осторожно на ковер левретку, Екатерина отправилась умываться. В промежутке между разными притираниями она говорила с горничной, Катериной Ивановной, и убеждала ее быть возможно аккуратнее в домашнем быту, ибо муж, конечно, будет взыскивать с нее строже, чем она, императрица. Екатерина на людях органически не могла молчать.

– Ты будешь уше увидеть, Катерина Ивановна, – сказала она и тотчас поправилась, – ты уше увидишь: муш тебя непременно будет бить с кнутом. Это я вас распустила. Я слишком добрая...

– Уж такая добрая... Век за ваше величество Бога молим, – лениво отвечала для приличия горничная, очень довольная тем, что разговаривает о своих делах с императрицей.

Надевши белый гродетуровый капот и белый флеровый чепец, наклоненный, как всегда, налево, Екатерина выпила огромную чашку необыкновенно крепкого кофе, накормила из своей чашки сливками и сахаром Герцогиню Андерсон, затем перешла в кабинет и села за письменный стол. Секретаря Храповицкого еще не было. Не являлся пока с докладом о спокойствии в городе и обер-полицмейстер. Императрица посмотрела на часы и вздохнула. Ей очень хотелось послать за Зубовым, – без него всегда было неуютно и беспокойно. Но граф, конечно, еще спал, а будить его было жалко.

Императрица надела очки и при виде лежавших на столе мастерски очиненных перьев и больших листов прекрасной гладкой бумаги почувствовала хорошо ей знакомое, неопределенное беспокойство. Екатерина была такая же графоманка, как и ее мать (только Иоганна-Елизавета писала лучше). Императрица сочиняла басни, сказки, проверки, стихи, комедии, романы, философские, педагогические и политические статьи. Писала она на разных языках, но всеми языками владела довольно плохо: по-немецки несколько разучилась, французский знала не слишком хорошо, а научиться русскому языку ей не было суждено. В это утро она не знала, на чем остановить выбор. Немецкий роман ее из восточной жизни «Обидаг» был давно закончен. Последнюю бытовую комедию из русской жизни спешно переводил с немецкого языка Храповицкий (тайком от всех придворных и особенно от сочинителей, ибо предполагалось, что императрица пишет по-русски). Можно было заняться письмами. Екатерина принялась писать Гримму; но этот вечный корреспондент порядком ей надоел... Вольтер давно умер. С ним в свое время было приятно переписываться. Правда, вначале императрица несколько боялась короля писателей, – стиль ее первых писем к нему выправлял Андрей Шувалов, в совершенстве владевший французским языком. Но потом страх прошел: любезнее Вольтера не существовало человека на свете. Совершенно презирая людей, Вольтер, когда не было надобности в противном, говорил им в глаза только самые приятные вещи. Он хладнокровно осыпал императрицу лестью, грубость которой граничила порою с чудесным. Вольтер был убежден в том, что лесть никогда не бывает, да и не может быть, слишком грубой, а в обращении с женщинами – всего менее. Он сравнивал императрицу с Божьей матерью, млея от восторга перед ее ученостью, которой она далеко превосходила, по его словам, всех философов мира, и выражал в письмах скорбь по поводу того, что не умеет писать по-французски так хорошо, как она. И хотя почти в каждом из подобных писем он находил случай попросить императрицу о каком-либо одолжении, чаще всего денежного характера, Екатерина, при всем своем уме и жизненном опыте, по-настоящему наслаждалась его бесстыдными похвалами. Вольтер, в свою очередь, приходил в самое веселое настроение духа, читая письма царицы и находя в них кроме денежных приложений совершенно невозможные *парижские* фразы (Екатерина любила писать игриво, бойким, развязным слогом). Такими фразами он немедленно делился с приятелями, вспоминая при случае, по поводу императрицы, разные ее *affaires de famille*<sup>52</sup>. Вольтер, в частности, разумел под этим названием убийство Петра III (о котором, во время его царствования,

---

<sup>52</sup> Семейные дела (*франц.*).

он писал столь же головокружительно лестно). Таким образом, оба корреспондента – императрица и Вольтер – были почти всегда вполне довольны друг другом.

Письмо Гримму не выходило. Екатерина отложила его в сторону и взяла другой лист бумаги. Ей захотелось написать любовное стихотворение, непременно по-русски, с посвящением Зубову. Довольно быстро она набросала несколько строк, но остановилась на четвертом стихе: забыла, какого рода ландыш, а нужно было употребить эпитет.

«Серебряный ландыш? Серебряная ландышь? – спрашивала она себя. – Может быть, выкинуть совсем “серебряный”?.. Нет, никак нельзя. Нужно будет узнавать у Гавриила Романовича. Пусть он потом посмотрит стихи».

При этом она с досадой вспомнила, что на тещу Гавриила Романовича Державина, за ее поборы с просителей опять поступили жалобы. Одна из них как раз лежала в пачке бумаг, оставшихся со вчерашнего дня.

«Все, все крадут! Alle sind Diebe!»<sup>53</sup> – сердито подумала императрица.

Крали действительно многие. Это воровство чиновников иногда приводило императрицу в чрезвычайное раздражение: она поднимала крик, грозила всем тюрьмой и каторгой, заливалась слезами, не слушая трагических утешений фаворита, – а через полчаса, успокоившись, посылала куда следует за толстыми пачками новеньких ассигнаций, чтобы утешить графа Зубова, который, бедный мальчик, так переволновался из-за нее и из-за общей нечестности чиновников.

В той же пачке оказались счета Гваренги. Императрица внимательно их просмотрела и опять с гневом подумала, что уж очень бесстыдно стал Гваренги воровать. Надо бы прогнать его. Так и в прошлом году заказал зачем-то в Италии мавзолею принцу Ангальт-Бернбургскому. В России сделали бы такую же мавзолею много дешевле.

Отгнав от себя на время эти мысли, Екатерина спрятала недоконченное стихотворение и принялась за бумаги, оставленные вчера Зубовым. Это были доклады и проекты, посланные на заключение графа Платона Александровича и возвращенные им с его резолюциями.

«Бедный, сколько он работает», – подумала государыня, любовно поглядывая на заметки фаворита, и утвердила, не читая, все его заключения, написав на каждом: «Быть по сему».

Среди писем было одно от ее сына, Бобринского, но оно не заключало в себе ничего интересного. Екатерина быстро и невнимательно его пробежала. Затем небольшим серебряным ключом открыла потайной ящик, где лежали самые интимные бумаги, и аккуратно положила куда следует письмо Бобринского. Когда она раздвинула аккуратно распределенные по фаворитам, перевязанные шелковыми шнурочками, пакеты интимных писем, ей вдруг под руку попался лежащий особняком измятый лист серой нечистой бумаги с большими, кривыми, прыгающими буквами, написанными неумелой, пьяной рукой. Она вздрогнула, выронила бумагу и схватилась рукой за сердце, которое у нее давно пошаливало. Императрица посидела так с полминуты; лицо ее побледнело, изменилось; резко обозначился двойной подбородок, и вся она сразу как будто состарилась лет на десять. Затем потянулась к листу правой рукой, не отнимая левой от сердца. Екатерина прочитывала это письмо всякий раз, когда оно нечаянно попадалось ей под руку, хотя тридцать лет знала в нем каждое слово, очертания каждой буквы. Это было присланное из Ропши в шесть часов вечера, шестого июля 1762 года, письмо, которым Алексей Орлов извещал любовницу своего брата (и свою) об убийстве Петра III:

«Матушка милосердная Государыня. Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему рабу. Но как перед Богом скажу истину. Матушка, готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете... Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на Государя! Но, Государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором. Не успели мы разнять, а

---

<sup>53</sup> Все воры (нем.).

его уже и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил: прогневали тебя и погубили души навек».

Морщины на лице государыни сложились болезненно резко. Она долго неподвижно сидела в кресле, тяжело дыша и не сводя глаз с письма, выпавшего из ее руки. Все подробности петербургского действия встали в ее воображении. Но еще страшнее этих подробностей было то, что могло каждую минуту ее постигнуть. Кто знает, может быть, и против нее составлен заговор? И ее могут задушить так же просто, как задушили мужа... Те же самые люди... И безнаказанно!.. Павел еще, пожалуй, наградит убийц, как она осыпала наградами Орловых...

Перед ней встала в памяти так хорошо знакомая ей, страшная фигура Алексея Орлова... Этот человек, который когда-то, угадав страстное невысказанное желание императрицы, задушил ее мужа, впоследствии нередко, многозначительно на нее поглядывая, загадочно говорил, что у него остались кое-какие связи в гвардейских частях. И, вспоминая мощную бесстыдную фигуру своего любовника, вспоминая, как он задушил Петра (подробности этого убийства знала только она одна), вспоминая, как он заманил и предал соблазненную им, доверившуюся ему княжну Тарakanову, вспоминая полускрытую угрозу письма «разыскивать нечего», Екатерина холодела от ужаса. Кто убережет ее? Потемкин умер... Прежде, за ним, было покойно. Он-то сумел бы защитить ее от Орлова и от всяких заговорщиков. А Платон – какая от него защита?.. Да еще надежен ли он сам? Не изменяет ли с другими женщинами?.. Кто бы только они, подлые?

Императрица позвала камердинера Захара Зотова, который, как вся прислуга, был с ней в самых лучших отношениях, – Екатерина умела находить общие интересы с Захаром Зотовым и с Вольтером. Камердинеру было строго приказано зорко примечать за князем, – особенно, куда ездит после ужина, когда ужинает не во дворце. Зотов обещал тщательно следить, но клялся всеми святыми, что князь верен и никуда после ужина не ездит.

Екатерина кивнула головой. Зотову она доверяла, и его мнение очень ее успокоило.

– Сама знаю, что князь мне верен, – сказала она. – Ну, уж зови...

Прием происходил в спальне. Императрица уселась перед выгибным столиком и позвонила в колокольчик. Обер-полицеймейстеру было сухо приказано усилить надзор в городе, ибо времена беспокойные. «Небось слышал, что во Франции творится?» Затем были разом допущены секретарь Храповицкий и любимец Екатерины (тоже бывший когда-то, очень недолго, ее любовником) обер-штальмейстер Нарышкин, который, когда хотел, присутствовал на докладах. Храповицкий вручил царице новую ее поговорку и русскую бытовую комедию, которые он ночью *переписал*. Екатерина небрежно его поблагодарила, пошутила насчет его полноты и посоветовала ему принимать холодные ванны, а против мозолей употреблять красный воск, тот самый, что ей рекомендовал граф Дмитриев-Мамонов. Нарышкина спросила, не помирился ли его брат с княгиней Дашковой, – их старинная ссора была вечным предметом ее шуток, – и добавила сама, что примирятся они в тот день, когда ученые найдут квадратуру циркуля. Затем, пошутивши ровно столько, сколько нужно, императрица заговорила по-французски, показывая этим, что пора заняться делами. Храповицкий на том твердом, отчетливом, чуть неестественном французском языке, которым говорят русские люди, хорошо этим языком владеющие, ясно и толково доложил важнейшие дела. Екатерина, очень быстро все сообразив своим гибким искусственным умом, дала точные, ясные и толковые инструкции для ответа. Затем, помолчав, спросила Храповицкого с принужденной улыбкой, зачем, собственно, приехал из Москвы князь Прозоровский. Храповицкий дипломатически уклонился от ответа, не желая при свидетеле дурно отзываться о могущественном вельможе. Он отлично знал, что Прозоровский приехал просить для себя и для своих сотрудников, Архарова, Шешковского и Пестеля, награды за истребление мартинистов. Храповицкий прекрасно понимал также, что

Екатерина это отлично знает сама – и непременно наградит князя, хотя делает вид, будто он ей неприятен.

– Еще дела какие? – помолчав, сказала Екатерина.

Она спросила о том, послано ли письмо Чернышеву в Рим, чтоб и не думал заказывать мозаики. И нет ли известий о приезде графа д'Артуа? И отделяется ли для него дом Василия Ивановича Левашова?

– Все французишки к тебе бегут, матушка, – сказал опять по-русски Нарышкин. – Верно, в Петербурге и в Сарском слаще жить, чем у немца. Гнала бы ты их в шею. Намедни заходил в кофейню Анри, – француз на французе сидит.

– В самом деле, ваше величество, – подтвердил Храповицкий, – число французских эмигрантов, желающих поступить на русскую службу, растет весьма быстро. Не угодно ли взглянуть на эту папку? Здесь реестер имен и прошения.

– Плюнь на них, матушка, – упрямо по-русски говорил Нарышкин. – Довольно с нас Ришелье, да Ланжерона, да Вербуа, да Эстергази.

– Не ведаю, чем они мешают господину обер-шталмейстеру, – сердито сказал Храповицкий. – А гостеприимство в обычае народа русского. Ласково принимать чужеземцев велят нам и нравы Древней Руси, и заветы великого Петра.

– Народ чахлый, тощий: какое тут гостеприимство, ни поесть с ними, ни выпить, – пояснил несколько сконфуженный Нарышкин. – И все ноют: L'exil! Chere patrie!<sup>54</sup> И все у нас не так... Ну и пусть едут в свою шерпатри, к жакобенам... А впрочем, твоя воля, матушка. Мне что! По мне пусть хоть совсем у нас остаются.

Екатерина задумалась. Ей льстило, что на ее службе состоят представители знатнейших французских родов. Льстила и мысль – оказать у себя гостеприимство правнуку Людовика XIV. Но она прекрасно понимала, что эмигранты хотят впутать ее в трудные и нисколько ни ей, ни России не нужные предприятия. Было бы гораздо лучше, если б помощь Франции оказывали лишь прусский и австрийский дворы. Тогда и в Польше у нее освободились бы руки. Вместе с тем достоинство России, которым она чрезвычайно дорожила и которое умела оберегать, требовало, чтобы эмигрантам была оказана помощь.

– Нет, надо что-либо сделать для эмигрантов, – сказала она задумчиво. – Это вопрос чести. Но в Петербурге им всем без дела сидеть, правда, незачем. Я посылала Ришелье к принцу Конде: предлагаю ему и всей его армии поселиться в России на восточном берегу Азовского моря. Пусть колонизируют нашу пустыню... И денег мы им на это отпустим...

– Так к тебе французишки и пойдут пустыню пахать, матушка, – сказал со смехом Нарышкин.

Вдруг дверь спальни неожиданно растворилась. Без доклада, без стука в комнату вошел граф Платон Зубов. Он был бледен и расстроен. Фаворит держал в руке распечатанный пакет. Императрица с восклицанием радости бросилась навстречу вошедшему.

Нарышкин и Храповицкий встали и почтительно поклонились.

– Ваше величество, – сказал по-французски Зубов, зачем-то понижая голос, – из Европы получены очень дурные вести. 10 января, в 10 часов утра, в Париже казнен король Людовик XVI...

Звонкий смех Екатерины осекся.

В комнате внезапно наступила мертвая тишина. Храповицкий перекрестился. Нарышкин побледнел и грузно опустился на стул.

Вдруг истерический крик вырвался из груди императрицы. Зубов бросился к ней и поддерживал ее за талию: ему показалось, будто она лишается чувств. Но это не был обморок. У Екатерины начался припадок истерики.

---

<sup>54</sup> Изгнание! Дорогая родина! (франц.)

– Зовите врача! – вскрикнул князь.

В спальне произошла суматоха. Через минуту горничные раздевали царицу и укладывали ее в постель. Марья Саввишна принесла тарелку со льдом. Прибежала, виляя хвостом, Герцогиня Андерсон, очень довольная суматохой. Появился лейб-медик Роджерсон с флаконом солей. Императрица с перекосившимся лицом истерически кричала что-то на разных языках. Кричала, что нужно истребить поголовно всех французов; что она пошлет на Париж Суворова *mit Kosaken*<sup>55</sup>; что все народы Европы должны принять православие, которое одно может их уберечь от заразы, посеянной проклятым Вольтером; что против ее жизни составлен гнусный заговор; что ее хотят задушить, но она все видит, знает всех заговорщиков и еще им себя покажет. Грозила казнями философам, мартинистам, Радищеву; вспоминала Потемкина и Григория Орлова; приказывала усилить стражу во дворце и пододвинуть поближе лучшие гвардейские части.

Граф Зубов находился при императрице безотлучно. Все приемы и праздники были отменены. Совершенно секретно князь вызвал к себе обер-полицеймейстера и долго внимательно расспрашивал его о настроении умов в столице.

## 9

В придворных и правительственных кругах Петербурга известие о казни французского короля произвело сильное впечатление, главным образом потому, что оно так потрясло государыню. Екатерина заперлась в своих апартаментах и большую часть дня проводила в постели. Допускались к ней лишь самые близкие люди. На вопрос о том, как ее величество изволит себя чувствовать, императрица отвечала: «*изрядно*» или «*отменно*» (она любила такие слова и даже говорила иногда «*лих*», чем в свое время крайне раздражала князя Потемкина, который немедленно, не стесняясь присутствием посторонних, повторял чисто русские выражения государыни, удивительно передавая ее немецкий акцент). Но вид у государыни был дурной, лицо желтое, глаза заплаканные. Рассказывали по секрету, что в один из этих дней, спускаясь вниз в *мыльню*, она внезапно лишилась чувств, упала и скатилась по лестнице. С близкими людьми Екатерина говорила почти исключительно о казни короля и с тупым упорством, которое свойственно самым умным женщинам, когда они говорят о политике, все повторяла одно и то же: «*Il taut absolutement exterminif jusqu au nom des Francais*»<sup>56</sup>. Очень поразила ее появившаяся в какой-то иностранной газете таблица, отмечавшая странную роль 21-го числа в жизни Людовика XVI: 21 апреля 1770 года состоялась его свадьба в Вене; 21 июня того же года было свадебное торжество в Париже; 21 января 1782 года праздновали рождение дофина; 21 июня 1791 года король бежал в Варенн; 21 сентября 1792 года была уничтожена монархия во Франции и 21 января 1793 года последовала кончина несчастного короля. Екатерина стала спрашивать, не было ли роковой даты в ее собственной жизни, но ничего такого не нашла. Только Храповицкий обратил внимание государыни на одно *куриозное* стечение обстоятельств: казнь Емельки Пугачева состоялась также 10(21) января – как раз в тот самый день, что и злодейское умерщвление французского монарха. Это *куриозное* стечение обстоятельств очень не понравилось императрице.

Зубов во время нездоровья Екатерины совсем перебрался к ней и почти не спускался в *мальей этаж*, где находились его собственные апартаменты. Любимцы князя с умилением говорили о той нежной преданности, которую обнаружил Платон Александрович в эти тяжелые дни. По их сияющим лицам всем стало ясно, что положение князя крепче крепкого. Да и в самом деле, приняв в расчет состояние здоровья и настроение духа императрицы, трудно

---

<sup>55</sup> С казаками (нем.).

<sup>56</sup> «Нужно совершенно уничтожить самое имя французов» (франц.).

было ожидать появления нового фаворита. Холодок около Александра Андреевича Безбородко несколько усилился. Граф ходил чрезвычайно озабоченный и своим видом сам как будто свидетельствовал о понесенном им поражении.

В действительности мысли Александра Андреевича начинали принимать новый оборот. После известия о болезни государыни граф, немного подумав, позвал к себе на обед лейб-медика Роджерсона. К этому обеду, происходившему в маленькой столовой, где были поставлены только два прибора, Александр Андреевич велел принести бутылку старого каштелянского меда, от которого, по украинской традиции, в свое время развязывался язык у самого Мазепы, – хотя прославленный гетман выпить был мастер, а болтать зря не любил. Надежды графа, связанные с предательскими свойствами этого чудесного напитка, оправдались. После первого стакана меда угрюмый Роджерсон повеселел, а после второго – расстегнул жилет и стал называть Александра Андреевича «*dear, dear friend*»<sup>57</sup>. Тогда Безбородко налил ему третий стакан и вскользь незаметно навел разговор на тему о легкой болезни ее величества. Роджерсон, похлопав графа по коленке, объявил, что здоровье государыни оставляет желать лучшего. Природой послан, конечно, ее величеству превосходный организм. Но все же годы, заботы и (Роджерсон замялся, несмотря на два стакана меда)... и труды сильно подорвали ее крепкую натуру. Правда, эта тема с давних пор объявлена совершенно запретной, но он, Роджерсон, может сказать графу, как шотландский джентльмен русскому джентльмену, как лейб-медик императрицы министру Совета, – что с ее величеством может каждую минуту случиться несчастье.

Безбородко сильно призадумался после разговора с Роджерсоном. Ему представилась маленькая фигурка Павла Петровича, его вздернутый нос и бегающие, беспокойные глазки. Вспомнилось и то, что великий князь в свое время объяснил герцогу Тосканскому, как он намерен поступить по воцелению на престол с фаворитами своей матери: «Велю их высечь, уничтожу и выгоню». Александру Андреевичу стало нехорошо; он подумал, что впутывается с Штаалем в очень опасную игру. Шансов выиграть ее против проклятого Зубова было теперь немного; а будущему императору эта новая история могла очень не понравиться. Граф все больше приходил к мысли, что едва ли не настало время понемногу переставить свою карьеру на карту Павла Петровича. Риск был совершенно несоизмерим: при Екатерине Александр Андреевич мог в худшем случае потерять должность; при Павле же легко было угодить в Сибирь. Между тем граф располагал верным способом заслужить милость наследника престола даже без посредства Федора Васильевича Ростопчина.

Как первый секретарь императрицы, Безбородко – один из очень немногих сановников – знал, где хранится в ее бумагах пакет, перевитый черной лентой, с надписью: «Вскрыть после моей смерти в Сенате». Александр Андреевич имел основания думать, что в пакете этом находится завещание Екатерины, содержащее в себе акт об устранении Павла от престола и о передаче последнего Александру. Безбородко не переоценивал значения этой бумаги: он думал, что устранить наследника путем секретного завещания далеко не так просто: царей вообще лишают престола иначе. И Александру Андреевичу приходило в голову, что не худо бы в день *великого несчастья*, вместо передачи пакета, перевитого черной лентой, в Сенат, вручить этот пакет самому Павлу Петровичу. Таким образом можно было бы заслужить не только прощение старых грехов, но и большую царскую милость. Обдумывая это дело, Александр Андреевич пришел к мысли, что надо пока занять очень осторожную, выжидательную позицию и отнюдь не раздражать Павла. Не мешало даже уехать в продолжительный отпуск – в Москву или за границу. Во всяком случае, было ясно, что теперь, в пору траура, с отмены праздников и приемов, у больной, нервной государыни Штааль имел очень мало шансов на решительный успех; а потому мозолить людям глаза в Петербурге ему было незачем, – обо всей этой истории уже

<sup>57</sup> «Дорогой, дорогой друг» (англ.).

ходило много разговоров в столице. С другой стороны, на случай перемены настроения, не мешало на запас иметь против Зубова эту комбинацию; да и ссориться с Зоричем Александру Андреевичу тоже не хотелось. Житейский опыт подсказал графу самый лучший выход из положения. Нужно было милостиво и ласково отослать Штааля с какой-либо временной миссией за границу, а Зоричу написать, что по нездоровью государыни их дело откладывается на некоторое время.

Разных миссий в чужие края у Александра Андреевича было всегда достаточно. В царствование императрицы Екатерины иностранная коллегия то и дело посылала за границу небогатых молодых дворян – больше для того, чтобы дать им возможность посмотреть европейские столицы и приучиться к серьезным делам. Чаще всего отправлялись курьеры в Лондон, особенно после того как русский посланник Воронцов установил с Питтом прекрасные отношения вместо прежних очень дурных. В Лондон Безбородко надумал послать и Штааля; хотел при случае напомнить о себе своему старинному сослуживцу Воронцову, с которым, как и с Ростопчиным, теперь следовало поддерживать особенно хорошие отношения. Генерал-поручик граф Семен Романович Воронцов, еще со времен государственного переворота 1762 года, когда он с оружием в руках отстаивал права Петра III, и в продолжение всего царствования Екатерины, считался в оппозиции двору. Он имел, таким образом, большие шансы на милость Павла Петровича.

Штааль с восторгом принял предложение отправиться за границу. Правда, жизнь в Петербурге очень ему нравилась; но его еще больше прельщали возможность посмотреть чужие края и особенно секретная дипломатическая миссия, о которой министр сказал ему несколько слов с видом чрезвычайно важным и таинственным. Молодой человек чувствовал искреннюю благодарность к судьбе: он явно шел по пути, указанному великим Декартом. Однако без разрешения Семена Гавриловича Штааль не считал возможным уехать за границу. Но это Александр Андреевич взял на себя. Зоричу были немедленно посланы два письма: одно, умоляющее, от самого Штааля, другое, политическое, от графа Безбородко. Очень скоро из Шклова пришел благоприятный ответ. Семен Гаврилович, очень много выигравший в ту пору в карты, соглашался с доводами министра, поздравлял своего воспитанника с началом карьеры, благословлял его в дорогу и на скорое возвращение в Петербург да вдобавок послал в подарок немалую сумму денег, хотя молодой человек ехал на казенный счет. Бесконечно обрадованный Штааль, оставшись наедине с Безбородко, закрывши наглухо все двери, попросил графа ознакомить его с доверяемой ему секретной миссией и вручить соответствующую на этот счет *инструкцию* (это слово он выговорил с особенной любовью). Александр Андреевич, не моргнув глазом, тут же придумал секретную миссию. Он поручил Штаалю *совершенно конфиденциально* выяснить настроения французских эмигрантов в Лондоне.

За несколько дней до отъезда Штааля к нему неожиданно явился весьма щеголеватый господин, не то грек, не то итальянец, по фамилии Альтести, первый секретарь графа Зубова. В самых любезных, милостивых выражениях он объявил молодому человеку, что его сиятельство вполне одобряет выбор дипломата, сделанный для столь важной и ответственной миссии графом Безбородко. С своей стороны, граф *рекомендует* Штаалю не торопиться с возвращением в Петербург; советует очень тщательно изучить настроения французской эмиграции и прислать о них подробнейший письменный доклад. Зубов разрешал даже молодому дипломату непосредственно обращаться с докладами к нему, минуя все инстанции. С своей стороны, он давал Штаалю письма к Питту и к лорду Гренвиллю. «Вам известно, милостивый государь, – добавил небрежно Альтести, – что Питт ни в чем не может отказать графу».

Штааль был немного смущен и важностью тех знаменитых людей, к которым ему давались письма, и неожиданным расположением Зубова: на вечере в Эрмитаже ему показалось, будто он не понравился графу. Молодой человек рассказал Александру Андреевичу о визите Альтести. Безбородко усмехнулся и тут же с усмешкой продиктовал Штаалю ответное письмо

Зубову: в нем Штааль самым почтительным образом благодарил графа за доверие, обязывался в точности выполнить инструкцию, со всем требуемым службой рвением, в возможно *непродолжительный срок*, и обещал немедленно по возвращении в Петербург *повергнуть к стопам ее величества* политический доклад, указанный мудрыми предначертаниями его сиятельства. Александр Андреевич даже зачавкал губами от удовольствия, сочинив этот ехидный ответ. Он сам запечатал письмо и сказал, что отошлет его графу после отъезда Штааля.

Молодой дипломат был с утра до ночи наверху блаженства. Еще никогда он не имел в своем распоряжении таких огромных денег, как теперь, и, преисполненный радостью жизни, ни в чем не отказывал ни другим, ни себе. Иванчук перехватил у него до будущего четверга порядочную сумму; а раза два весь кружок веселящейся *молодежи* кутил целую ночь на его счет. Зато Штааль приобрел популярность, был на «ты» с двумя камергерами и имел опытных друзей, которые охотно давали ему самые полезные советы. Дипломат Насков, изъездивший всю Европу, после второй бутылки шампанского записал даже для Штааля весь маршрут его поездки – с указанием в каждом городе лучших гостиниц, театров, ресторанов и веселых домов. В Париже Штааль должен был остановиться в Hotel des Trois Mylords, завтракать в Cafe Foy, обедать в La Grotte Flamande, любоваться мадемуазель Рокур в «Merope», Ларивом в «Hercule sur le Mont-Etna», а даму должен был искать, разумеется, в Пале-Рояле. Насков сильно расчувствовался и со слезами в голосе пропел: «Chacun y prend son regal, se n'est qu'au Palais-Royal, se n'est qu'au Palais-Royal...»<sup>58</sup> Только когда все уже было записано, он неожиданно вспомнил, что Парижа Штааль никак не увидит, ибо короля больше нет, во Франции правят якобены и попасть туда совершенно невозможно. Дипломат залился слезами и проклял французскую революцию.

Штааль, впрочем, отнюдь не думал, что ему не придется побывать в Париже. Он просто не мог себе этого представить. Правда, французская граница была закрыта, поездки в революционную страну строгойше запрещены императрицей, дипломатические сношения с Францией прерваны, а с французов, оставшихся в России, даже взята торжественная подписка, в которой они свидетельствовали свое отвращение к революции и верность престолу Бурбонов. Тем не менее Штааль был в душе уверен, что попадет в Париж, переживающий такое интересное историческое время, и попадет не как-нибудь, а с шумом. Свою роль во Франции он представлял себе различно. Иногда он был якобеном, произносящим громовую речь в Конvente (но это, вероятно, слишком бы огорчило императрицу и Зорича, а потому было неудобно). Случалось, напротив, укрощал революцию мирным способом и становился благодетелем всего мира. Иногда он, наконец, вместе с Суворовым (или даже вместо него), грозным контрреволюционным вождем, вторгался в Париж во главе доблестной русской армии, спасал королеву и судил цареубийц. Но во всяком случае в Париже он должен был себя показать. Никакая слава не установлена окончательно до ее признания Парижем.

Штааль целые дни делал необходимые покупки. Сшил себе много платья по самой новой моде, привезенной недавно из-за границы известным щеголем, князем Борисом Голицыным; обзавелся и великолепными галстуками, закрывавшими шею до подбородка, – это тоже было последнее слово моды. Ехать он решил с удобствами. Купил прекрасную дорожную карету с модными круглыми стеклами и, разумеется, серебряный *погребец*. Дипломат Насков наметил ему список напитков, которые надлежало иметь в погребце. Большинство этих напитков Штааль не знал, но ему нравились их звучные названия. Купил он также в Английском магазине шкатулку с потайным замком для *секретных бумаг*, пару пистолетов с золотой насечкой, великолепную саблю с *дамасским клинком*, дорогой *толедский* кинжал и много других нужных в дороге вещей... Вещи он любил страстно – какой-то обезьяньей любовью.

<sup>58</sup> «Здесь каждый получает наслаждение только в Пале-Рояле, только в Пале-Рояле...» (франц.)

Рано утром к подъезду ночного ресторана Лиона подкатила собственная коляска Штааля. Кончился поздний ужин. Молодой дипломат очень *лихо* расцеловал на прощание цыганку Настю, которая была ему очень противна (тогда цыгане как раз начинали входить в моду), подарил ей на счастье пятьдесят рублей, слегка, впрочем, пожалев об этих деньгах, и горячо простился с друзьями. Вооруженный с головы до ног, запахнув дорожную доху, Штааль сел в собственную коляску; еще раз нащупал под дохой сумку с деньгами и пистолеты; удостоверился в целостности шкатулки с секретным замком и закричал ямщику: «С Богом! Трогай!» – совершенно так, как это делал, по слухам, отправляясь в поход, фельдмаршал Румянцев-Задунайский.

## 10

«Езда на остров любви, перевод с французского в Гамбурге через студента Василья Тредьяковского, с прибавлением стихов переводчика на разные случаи. Издание второе. Санкт-Петербург».

Штааль захлопнул книгу. Теперь, при въезде в Кёнигсберг, читать было, во всяком случае, поздно. Сочинение это, случайно захваченное с «Жилбазом» и «Путеводителем к счастью», регулярно вынималось из ручного чемодана на каждой станции; но дальше заглавия молодой путешественник не пошел. Читать ему не хотелось. Его предупреждали, что в дороге без общества должно быть скучно, – и он старался скучать. Но точно назло в течение всей поездки ему было чрезвычайно весело – от свободы, от секретной миссии, от погребца, от девятнадцатилетней крови. Он и дневника не вел в дороге, но зато, собираясь вести дневник, старался думать литературно и мысленно вырабатывал себе слог.

«Жаль, что не было в пути никаких случаев и происшествий... Ведь напали внезапно на Декарта разбойники... Славно он, у Байе, обнажил шпагу и укротил злодеев... Кажется, и Юлию Цезарю случилось на море что-то такое... В желтеньком учебнике истории это было на левой странице снизу. Скверный желтенький учебник... И слава Богу, что больше никогда не будет экзаменов. Впрочем, той детской ажитации и радости от хороших баллов, право, жаль... Какой, однако, вздор лезет порою в голову... А ведь это уже город Кёнигсберг, Европа... Ну, худая Европа, а все-таки Европа... И правда, чистенькие дома... А это что же: улица вымощена диким камнем справа и слева – прохожие идут не посередине, а только с боков... Ах, это и есть немецкие *тротуары*, о которых говорил Насков... Да, по всему видно, Европа... Теперь происшествий ждать нечего... Экая досада! Даже дорогой нигде не прошибались, и со зрителями ничего ни разу не выходило... Насков говорил, что зрителей надо непременно бить по морде. Как же я мог их бить по морде, если они сразу давали лошадей! И вообще – с какой стати бить людей по морде?... А все-таки против Невского эти узенькие улицы никуда... Сейчас, верно, подъедем к гостинице... Разумеется, надо будет номер занять самый лучший... Дипломату ее величества нельзя останавливаться в номере средней руки: это роняет престиж отечества... Потом баня, потом обед. Спросят паспорт и подорожную. *Bitte sehr*<sup>59</sup>: русский дипломат Штааль, такой паспорт показать не стыдно... А могу ли я еще говорить немецким языком? Едва ли, однако, все позабыл... В гостинице, вероятно, останавливаются тутошние рыцари... Ведь в Пруссии еще сохранились риттеры. Если придется пожить дня два, познакомлюсь, какие такие немецкие риттеры... Да вот, кажется, и приехали... Ну да, приехали... Изрядная гостиница...»

Гостиница оказалась почти такой, какой ее воображал Штааль. И крыльцо, высланное железной окалиной, и передняя с чучелами зверей, и большой номер необычной для русских постоялых дворов чистоты, и длинная низкая столовая с огромным камином, где *весело трещал* огонь, – все было совершенно как следует. Рыцарей, правда, в столовой не оказа-

<sup>59</sup> Извольте (*нем.*).

лось: обедала только за большим столом компания немецких купцов. Штааль, немного недовольный тем, что у него никто не спросил подорожной, подошел к длинной стойке столовой. У стойки нарезывала разные *belegte* и *illustrierte Brotchen*<sup>60</sup> очень хорошенькая, совсем молоденькая блондинка, которая приветливо улыбнулась молодому человеку. Хотя Штаалю было довольно противно сочетание твердых разрыхленных яиц с кильками, сыром и салатом, он попросил барышню дать ему иллюстрированный хлебец и с удовольствием убедился в том, что сравнительно легко составляет более или менее сложные немецкие фразы. Затем молодой человек занял место за отдельным круглым столиком, накрытым белоснежной скатертью грубоватого полотна, перед прибором с разными игривыми рисуночками и поучительными изречениями. Барышня проводила его глазами и последовала за ним к столику.

– *Was wiinscht der gnadige Herr?*<sup>61</sup> – спросила она ласково.

Штааль немедленно потребовал бутылку замороженного шампанского. Заказ этот произвел потрясающее действие. Барышня широко раскрыла глаза и робко разъяснила, что французского *Зекта* они не держат, но если *gnadiger Herr*’у угодно подождать, то можно послать за Зектом в лавку на *Frazosische Strasse*. У них же в погребе есть в большом выборе самое лучшее, старое рейнское вино. Штааль согласился подождать, и скоро действительно в столовую принесли бутылку, завернутую в чистую белую бумажку и перевязанную розовой ленточкой. Через несколько минут вся гостиница знала, что приехавший из Петербурга в собственной удивительной коляске русский, без всякого радостного или торжественного повода, заказал к *Abendbrot*’у<sup>62</sup> бутылку Зекта. К концу вечера это знал весь квартал, и с почтительным недоумением повторялось: «*Diese Russen!*»<sup>63</sup>

Хорошенькая барышня была дочь хозяина-вдовца. Ее звали Гертрудой. Она сама не подавала и не готовила блюд, а только принимала от гостей заказы, немедленно вписывала их в какую-то лежавшую на стойке толстую переплетенную книгу и, по-видимому, имела общее наблюдение за хозяйством: две молодые, краснощекие служанки часто дружелюбно с ней шептались. Одна из них, подав Штаалю заказанный им *окровавленный ростбиф*, внезапно, без видимой причины, прыснула со смеху, закрыла голову передником и убежала к фройлейн Гертруде. Обе залились у стойки сумасшедшим хохотом. К ним тотчас направилась прислуживавшая купцам вторая служанка, которая закрылась передником и стала хохотать еще по дороге. Купцы, в свою очередь, развеселились, а затем потребовали разъяснения причины веселья; узнав же эту причину, оглянулись на Штааля, захохотали, сказали разом «*Grossartig!*»<sup>64</sup> и стогоряча потребовали шесть новых кружек пива. Фройлейн Гертруда, очевидно опасаясь, как бы не обиделся русский гость, опять подошла к Штаалю и застенчиво объяснила ему, что общее веселье вызвал один замечательный виц, который сказала эта глупая Маргарита. «*Der gnadige Herr soil das nicht ubel nehmen*»<sup>65</sup>. Но Штааль и не думал обижаться, в доказательство чего счел нужным предложить фройлейн Гертруде бокал или, точнее, кружку тепловатого шампанского. Это предложение было принято с почтительным восторгом, в равной мере относившимся к цене вина и к щедрости гостя. Начался разговор. Через несколько минут Штаалю было известно, что фройлейн Гертруде семнадцать лет и что она училась два года в местной *Tochterschule*<sup>66</sup>. А фройлейн Гертруда узнала, что *gnadiger Herr* русский дипломат, имеющий секретную миссию в Лондон, и что ему двадцать четыре года. Последнее сообщение встретило, впрочем, с ее стороны некоторое недоверие. К концу обеда они были друзьями. Подошел к столику Шта-

<sup>60</sup> Бутерброды (нем.).

<sup>61</sup> Что угодно милостивому господину? (нем.)

<sup>62</sup> Ужин (нем.).

<sup>63</sup> «Эти русские!» (нем.)

<sup>64</sup> «Великолепно!» (нем.)

<sup>65</sup> «Милостивый господин не должен на это обижаться» (нем.).

<sup>66</sup> Женская школа (нем.).

аля и отец фройлейн Гертруды, тоже выпил с почтительным восторгом кружку тепловатого Зекта и очень мило поговорил с русским гостем: похвалил Россию за ее громадную величину и выразил удивление перед мудростью императрицы Екатерины, которую маленькой девочкой видела в Цербсте двоюродная тетка его покойной жены.

Было сказано несколько слов и о войне с Францией. По всему было видно, что в этом деле хозяина волнует главным образом вопрос о наборе рекрутов. Революцией же он интересовался чрезвычайно мало и даже к самому факту ее относился как будто несколько недочувствительно. Затем Штааль спросил хозяина, не знает ли он, когда уходит из ближайшего порта первый корабль в Англию. Хозяин немедленно справился по какому-то листку, для верности опросил еще купцов и сообщил, что первый корабль отойдет при благоприятной погоде через четыре дня. Таким образом, весь следующий день можно было смело оставаться в Кёнигсберге. Молодой человек, поглядывая на фройлейн Гертуду, принял не без удовольствия это известие, как ни неудобно было заставлять ждать Питта, Гренвилля и Воронцова. День был закончен небольшой совместной прогулкой с фройлейн Гертудой и посещением кофейной, где к венскому кофею подавались удивительные Apfelkuchen mit Schlagsahne<sup>67</sup>. За четвертым кухонным фройлейн Гертуды уже не могла без слез думать о предстоящем отъезде русского дипломата, и если что могло ее утешить, то разве только его обещание подарить ей перед отъездом флакон настоящих французских духов. А Штааль соображал, удобно ли будет дипломату с секретной миссией тайно увезти с собою из Кёнигсберга хорошенькую дочку хозяина гостиницы. Их петербургский кружок, наверное, отнесся бы к этому вполне сочувственно. Но представлялись, с другой стороны, некоторые служебные и иные неудобства. Кроме того, можно было предположить, что в Лондоне, а тем более в Париже, тоже найдутся хорошенькие дочки у хозяев гостиниц. Штааль не знал, ни как поступил бы на его месте Насков, ни как поступил бы Декарт.

Он решил обдумать все это толком потом, *наедине с самим собой*. Нахмуренный поднялся он в десять часов вечера в свою комнату и принялся ходить по ней взад и вперед. В спальне было довольно холодно: окна открывались в гостинице надолго, независимо от времени года. Штааль, расхаживая от письменного стола к двери, все чаще поглядывал на огромную мягкую постель, покрытую толстым пуховым одеялом в стеганом шелковом чехле. Хотел было, чтоб сосредоточиться, записать свои мысли в дневник. Но как назло с любовью купленная в Английском магазине для ремарок дорогая тетрадь в сафьянном переплете запропастилась куда-то на самое дно чемодана. Штааль постановил сосредоточиться уже в постели, разделся, лег, накрылся стеганым одеялом – и даже не погасил свечи: мысли его смешались в ту же минуту. Он заснул сном девятнадцатилетнего юноши, на новом месте, после долгой дороги и нескольких бокалов шампанского. Ему снились странные сны, в которых Питт, Насков, Декарт и особенно фройлейн Гертуды принимали сложное и деятельное участие.

На следующий день, оказавшийся солнечным и теплым, фройлейн Гертуды, как было заранее условлено, немедленно после завтрака освободилась от своих обязанностей по хозяйству. Она обещала Штаалю показать ему главные достопримечательности Кёнигсберга. Однако на поверку этих достопримечательностей было немного: дворец на высоком холме, с цейхаузом, *московской* залой и библиотекой, где книги были для безопасности прикованы к полкам на длинных цепочках, а на стене висел писанный с натуры портрет жены Лютера Катерины-Деворы; кафедральная церковь, с шишаком маркграфа Бранденбургского и с изображением беременной его супруги, и диковинный сад, с *менажерией*, купца Сатургуса, где водяной насос производил отчаянный колокольный звон. Когда все это было осмотрено, фройлейн Гертуды предложила почитать вместе вслух одну хорошую книжку в прелестном уединенном уголке Королевского сада. Штааль охотно согласился, и они отправились в сад, купив

<sup>67</sup> Яблочные пирожки со взбитыми сливками (*нем.*).

по дороге полдюжины пирожков. В Королевском саду было очень мало народа. Они уселись на скамейке; фройлейн Гертруда пригласила Штааля полюбоваться уголком и признать, что уголок этот – herrlich und entzuckend<sup>68</sup>. Столичному дипломату не подобало чрезмерно восторгаться провинциальной природой; Штааль тем не менее снисходительно похвалил местоположение. Затем фройлейн Гертруда раскрыла шелковую сумочку с ее инициалами и с золотой надписью: «Скромность и целомудрие – лучшие украшения немецкой девицы». Пояснив Штаалю, что сумочка эта, подаренная ей отцом в день окончания Tochtterschule, стоила три с половиной талера, она вынула из сумочки книжку в веселеньком голубеньком переплете. Книжка называлась «Die Leiden des jungen Werther»<sup>69</sup>; автор, по словам фройлейн Гертруды, был очень известный, но еще молодой и чрезвычайно красивый собою поэт Гёте: его лично знает одна ее подруга, переселившаяся из Кёнигсберга в Веймар, – по-видимому, влюблена в него страшно и пишет, что он herrlich и entziickend. Фройлейн Гертруда рассказала несколько сбивчиво начало романа и принялась проникновенно читать со середины. Штааль первые десять минут слушал внимательно. Но он не имел врожденного литературного слуха, нужного для того, чтобы оценить по достоинству гётевскую прозу. К тому же немецкий поэтический язык был ему не совсем понятен; несколько раздражало его, что общий смысл каждой сложной фразы он узнавал лишь в самом ее конце – с появлением сказуемого, – да и то не всегда. Штааль решил, что слишком нетерпелив для немецких литературных произведений, и перестал вдумываться в рассказ, но зато с удовольствием слушал звук голоса фройлейн Гертруды, казавшийся ему чрезвычайно приятным. Очень понравилось ему также выражение ее лица, которое делалось все печальнее по мере того, как становились тяжелее душевные переживания героя. Изредка она останавливалась и с грустной улыбкой съедала кухен. Когда дело дошло до прощального письма Вертера, начинавшегося словами: «Es ist beschlossen, Lotte, ich will sterben»<sup>70</sup>, — голос фройлейн Гертруды задрожал и на ее глазах появилась легкая влага. Штааль хотел было утешить фройлейн Гертруду, – оглянулся по сторонам, но признал более удобным отложить утешение до самоубийства героя, которое, по его мнению, теперь должно было последовать в самом близком будущем. Он стал нетерпеливо ждать, стараясь определить по толщине отгнутой правой части книги, сколько еще могло оставаться непрочтенных страниц. Ждать ему пришлось довольно долго: Вертер писал второе прощальное письмо. Но его содержание совершенно ускользнуло от Штааля, ибо внимание молодого человека внезапно сосредоточилось на ножке фройлейн Гертруды. Он с удивлением констатировал, что ножка у его приятельницы очень маленькая; между тем в их петербургском кружке считалось общепризнанным, что у всех немков громадные ноги, Штааль задумался над этим вопросом, как вдруг в голосе фройлейн Гертруды послышались сдержанные рыдания. Вертер требовал в третьем прощальном письме, чтобы бант, подаренный ему Лоттой, был положен с ним в гроб. «Sei ruhig! – читала прерывистым голосом фройлейн Гертруда. – Ich bitte dich, sei ruhig! Sie sind geladen. – Es schlagt zweife! So sei's denn! – Lotte! Lotte, leb'wohl! Leb wohl!..»<sup>71</sup>

Молодой человек растроганно обнял фройлейн Гертруду и нежно ее поцеловал. Напуганная самоубийством Вертера, она не оказала никакого сопротивления; напротив, Штаалю даже показалось, при всей его неопытности, что его смелый поступок не слишком поразил фройлейн Гертруду. Поцелуй, вероятно, затянулся бы долго, если б не произошло нечто неожиданное. С легким криком «Lieber Gott! Herr Professor!»<sup>72</sup> – фройлейн Гертруда внезапно вырвалась из

<sup>68</sup> Великолепный и восхитительный (нем.).

<sup>69</sup> «Страдания молодого Вертера» (нем.).

<sup>70</sup> «Лотта, все решено, я должен умереть» (нем.).

<sup>71</sup> «Будь спокойна! Молю тебя, будь спокойна! – Они заряжены. – Бьет полночь. Да будет так! – Лотта, прощай! Прощай, Лотта!..» – Гёте. Страдания юного Вертера. Перевод с нем. Н. Касаткиной.

<sup>72</sup> «Боже, господин профессор!» (нем.)

рук Штааля и спаслась бегством, предварительно подобрав свалившуюся с ее колен сумочку с золотой надписью: «Скромность и целомудрие – лучшие украшения немецкой девицы».

## 11

Штааль свирепо оглянулся. Перед ним стоял, кротко улыбаясь, очень маленький, очень дряхлый, беленький, напудренный старичок в чистеньком, но довольно бедном, застегнутом на две пуговицы, теплом кафтане, к которому было странным образом пристегнуто какое-то странное оружие, не то шпага, не то кортик. Из-под маленькой треугольной шляпы виднелся перевязанный сзади черной ленточкой парик. Правое плечо у старичка было сильно приподнято и как будто вывихнуто. Сам он был так дряхл и слаб, что, казалось, его мог опрокинуть первый порыв ветра.

– Что вам угодно, сударь? – сердито спросил Штааль. Старичок улыбнулся еще более кротко и сел на скамейку.

– Как это хорошо! – сказал он старческим, приятным, не совсем внятным голоском. – Славное дитя! Как это хорошо! Право, я очень рад тому, что милая девушка нашла себе жениха... Я знаю фройлейн Гедвигу с ее рождения, ибо, отправляясь гулять по средам и воскресеньям к Steindammer Thor<sup>73</sup>, неизменно захожу в гостиницу ее отца. Это прелестная девушка. Я сердечно поздравляю вас, молодой человек. Увидите, вы будете с ней очень счастливы...

«Что за чучело!» – подумал Штааль.

– Да вы кто такой и что вам, собственно, от меня угодно?

Старичок посмотрел на него удивленно.

– Вы меня не знаете? – спросил он несколько менее ласково. – Вы иностранец? В этом городе меня знают все. Я – здешний профессор Кант. Мое имя вам также неизвестно? – грустно спросил он и затем рассмеялся не то саркастически, не то добродушно. – Скажу вам правду: я не очень честолюбив, но меня иногда огорчает, что я не пользуюсь известностью в широкой публике. Право, людям не мешало бы знать, что думает в Кёнигсберге, на Prinzessinstrasse старый Иммануэль Кант... Впрочем, это неважно. Так вы – иностранец? Здесь есть немало поляков и евреев. Вы не поляк? Несчастные поляки... Может быть, вы – еврей? Евреи Фридлиндер и Маркус Герц – мои добрые друзья. Вы их не знаете? Ах да, вы иностранец... Вы, вероятно, намерены поступить в наш университет? Прекрасная мысль, молодой человек. Я люблю молодых людей, а ваше лицо мне особенно нравится. Если хотите, я сам буду с вами заниматься, *privatim* или даже *privatissime*<sup>74</sup>, бесплатно или лучше за небольшую плату, – в зависимости от ваших средств. Я могу преподавать вам все предметы, которые я читал в университете: математику, астрономию, философию, физику, логику, мораль, натуральное богословие, юриспруденцию, антропологию, физическую географию, фортификацию и пиротехнику. Кроме этого, я, к сожалению, знаю немного. И некоторые главы мне придется даже предварительно восстановить в памяти. Я кое-что забыл, потому что я очень стар...

Он опять просиял улыбкой, и его чисто детская улыбка невольно остановила внимание Штааля. Он взгляделся в старика и увидел, что лоб у него какой-то необыкновенный. Из глубоких впадин, покрытых седыми бровями, лили мягкий свет голубые глаза.

– Вас, может быть, смущает, – продолжал старик, – что студентам по общему правилу не разрешается жениться. Это ничего. Я выхлопочу вам разрешение. А после окончания университета вы легко найдете место учителя. Вы можете быть впоследствии профессором у себя на родине. Это хорошо оплачивается. Я в начале своей карьеры получал всего шестьдесят два

---

<sup>73</sup> Штенидамские ворота (*нем.*).

<sup>74</sup> Частным образом... абсолютно частным (*лат.*).

талера в год; а в этом году мне вышло семьсот двадцать пять талеров шестьдесят два гроша и девять пфеннигов. И за сочинения свои я тоже получаю недурной гонорар: за мою «Критику чистого Разума» я получил по четыре талера с печатного листа. Вы скажете, что я эксплуатирую своего издателя? Это неверно, ибо моя книга может выдержать несколько изданий и, наверное, принесет доход. Но я действительно очень хорошо устраиваю свои дела... Вероятно, я проживу еще лет двадцать, и тогда я оставлю после себя не менее тридцати тысяч талеров сбережений. А главное, за всю свою жизнь я никому ни разу не был должен ни гроша. Когда ко мне стучат в дверь, я отворяю совершенно спокойно, зная, что за дверью нет кредитора. Да, – повторил он очень довольным тоном. – *Jawohl, mein junger Freund, mit ruhigem und freudigem Herzen kann ich immer «Herein» rufen, wenn jemand an meine Tur kloppt, denn ich bin gewiss, dass kein Glaubiger draussen steht...*<sup>75</sup>

– Почему же вы думаете, что проживете еще двадцать лет? – сердито спросил Штааль, раздраженный до последней степени сделанным ему предложением сначала поступить в университет, а потом стать учителем.

Старичок остановил на нем долгий взгляд, точно хотел понять, за что обиделся его собеседник. Но самый вопрос показался ему вполне естественным.

– Оттого, что я очень крепкий человек, – с гордостью ответил он. – У меня от рождения слабое сердце и дурная печень. Но я победил силой воли эти недостатки тела. Я запретил себе думать о своих страданиях – и теперь не обращаю на них никакого внимания. Точно так же я очень легко излечиваюсь волей от насморка. А главное, я веду правильный образ жизни и все делаю как следует, по определенной научной системе. Вы как дышите, когда гуляете? Ртом? Ну, вот видите, а я дышу носом. А когда вы работаете за письменным столом, где вы держите носовой платок? Верно, у себя в кармане? Правда? А я – на стуле в соседней комнате. Таким образом, всякий раз, когда я нюхаю табак, я должен поневоле сделать несколько шагов. Следовательно, я не засиживаюсь долго на одном месте и произвожу время от времени полезный моцион. – Он с торжеством посмотрел на молодого человека. – Я все делаю обдуманно. Человек должен размышлять о каждом своем действии.

– Вы женаты? – спросил Штааль.

– Я? – с изумлением воскликнул старик. – О нет! Вообразите, меня еще совсем недавно хотел женить местный пастор Беккер. Он даже написал для меня диалог о женитьбе: «Рафаэль и Тобиас, или Размышление о брачной жизни христианина». Старик расхохотался... – Мы имели продолжительную беседу, и я его разбил по всем пунктам, – продолжал он, кашляя от смеха. – Разумеется, я вернул ему расходы по выпуску этой брошюры, ибо он напечатал ее только для того, чтобы убедить меня жениться... Нет, нет, я вообще нахожу, что настоящий мужчина не должен вступать в брак. Но так как большинство людей все-таки, к сожалению, имеет это дурное обыкновение, то я с радостью приветствую те случаи брака, которые согласны с требованиями рассудка. За женой непременно надо брать приданое. Не очень большое, но обеспечивающее независимость мужа. Ибо для размышления необходима материальная независимость. И вы можете быть уверены, что за Еленой получите порядочное приданое, не менее пяти тысяч талеров. Гостиница ее отца дает отличный доход. На эти деньги вы можете жить совершенно независимо. Если у вас окажется способность к отвлеченной мысли, это будет превосходно. Вы могли бы, например, под моим руководством разрабатывать онтологическую проблему. Это очень интересная проблема... В противном случае вы можете стать честным купцом, как мой друг Грин, или книгопродавцем, как мой друг Николовиус, или директором банка, как мой друг Руссман...

<sup>75</sup> Да, мой юный друг, спокойно и дружелюбно могу я всегда крикнуть: «Войдите», – когда кто-то постучит ко мне в дверь, потому что я уверен, что снаружи нет кредитора (*нем.*)

– У вас много друзей, – заметил Штааль, чтобы что-нибудь сказать. Его ироническое настроение ослабело. Что-то в этом старике с огромным лбом и с глазами, светящимися из-под седых бровей, производило на него странное действие.

– Да, у меня много друзей, – повторил торжественно старик. – Некоторые, правда, умерли... Но я их никогда не вспоминаю. Я запретил себе о них думать... Не нужно никогда вспоминать о мертвых, – сказал он вдруг странным, изменившимся голосом, в котором Штаалю послышался ужас.

– У меня есть друзья, – заговорил он опять, – потому, что я предписал себе любить людей... К несчастью, в наше злое, ужасное время есть не стоящие любви, вредные, опасные люди, которых постигнет вечное, тяжкое проклятие потомства...

– Робеспьер? Дантон? – спросил Штааль.

– Дантон? – переспросил с удивлением Кант (он выговаривал Dangtong с ударением на первом слоге). – Нет, какое же отношение имеет сюда Дантон? Люди, о которых я говорил, это консигториальные советники, бреславльский пастор Герман Даниель Гермес и бывший учитель гимназии Готтфрид Фридрих Хилльнер... Впрочем, Бог с ними! Разумный, мыслящий человек не имеет врагов... Вы сказали – Робеспьер, Дантон... Я думаю, они неплохие люди. Они заблуждаются, только и всего: почему-то вообразили себя революционерами. Разве они революционеры? Они такие же политики, такие же министры, как те, что были до них, при покойном короле Людовике. Немного лучше или, скорее, немного хуже. И делают они почти то же самое, и хотят почти того же, и душа у них почти такая же. Немного хуже или, скорее, немного лучше... Какие они революционеры?

– Кто же настоящие революционеры? – спросил озадаченный Штааль.

– Я, – сказал старик серьезно и равнодушно, как самую обыкновенную и само собой разумеющуюся вещь.

Штааль вытаращил глаза.

– Это очень распространенное заблуждение, будто во Франции происходит революция, – продолжал старик. – Признаюсь вам, я сам так думал некоторое время и был увлечен французскими событиями. Но теперь мне совершенно ясен обман, и я потерял к ним интерес. Во Франции одна группа людей пришла на смену другой группе и отняла у нее власть. Конечно, можно называть такую смену революцией, но ведь это все-таки несерьезно. Разумеется, я и теперь желал бы, чтоб во Франции создалось правовое государство, более или менее соответствующее идеям Монтескье. Но, согласитесь, это все не то... Почему эти люди не начнут революции с самих себя? И почему они считают себя последователями Руссо?.. Руссо, – сказал он с уважением, – имел в виду совершенно другое. Руссо был большой, но, к сожалению, недостаточно философский ум. Он был чересчур несчастен для того, чтобы правильно размышлять. Он ненавидел людей... Но все-таки с Руссо я мог бы договориться. Мы бы поспорили и, наверное, к чему-нибудь пришли. Между тем я не уверен, что мне удалось бы переубедить Дантона или, скажем, Питта... Дантон и Питт – ведь это одно и то же.

– Я на днях увижу Питта, – счел нужным вставить Штааль, желая указать старику его настоящее место. – Если вам что нужно... У меня есть к нему секретное поручение от моего правительства.

Старик посмотрел на него разочарованно.

– Так вы дипломат? – сказал он. – Как жаль!.. Право, бросьте вы это дело, молодой человек. Поверьте, гораздо лучше быть учителем или купцом. С тех пор как существует мир, еще не было ни одного умного дипломата. Я хочу сказать, что еще ни один дипломат не высказал ни одной такой мысли, по которой его можно было бы отличить от другого дипломата: они все вот уже три тысячи лет – совершенно одинаковые. Удивительнее всего то, что люди терпят их до сих пор, как терпят и вечное дело дипломатов – войну. Я теперь обдумываю одну маленькую работу: о вечном мире. Но если вы меня спросите, уверен ли я в том, что после выхода в

свет моей работы дипломаты перестанут устраивать войны, право, я не решусь ответить утвердительно... Только в моем учении – подлинная революция, революция духа. И потому самые вредные, самые опасные люди это не Дантон и не Робеспьер, а те, которые мешают мне высказывать мои мысли. Разве можно запрещать произведения Канта?..

Он вынул из кармана какие-то листы печатной бумаги и показал их Штаалю, не выпуская из рук.

– Это моя последняя работа, – сказал он значительно. – «Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft aufgenommen»<sup>76</sup>. Я прочту вам главу об основном зле человеческой природы. Слушайте!

Он откашлялся, растянул немного белый шарф, которым была обвязана его сморщенная, тонкая старческая шея, и стал читать, с выразительными и исполненными очевидного удовольствия интонациями, сопровождая чтение непрерывными жестами пальцев левой руки на высоте головы:

– Dass die Welt im Argen liegt, ist eine Klage, die so alt ist als die Geschichte...<sup>77</sup>

Но Канту помешал читать какой-то быстро подходивший к скамейке пожилой человек с красным носом.

– Ну вот! – воскликнул он грубоватым сирым голосом. – Ну можно ли? В пять часов господина профессора еще нет дома! Я должен был бежать на поиски господина профессора... Со стороны господина профессора это очень неосторожно – гулять так долго. И господину профессору никак не следовало садиться на скамейку... И господину профессору давно пора домой...

Кант задумчиво смотрел на него.

– Это мой слуга Лампе, – пояснил он Штаалю. – Лампе прав. Я прочту вам когда-нибудь в другой раз мою работу: «Vom radicalen Bosen in der menschlichen Natur»<sup>78</sup>. Скоро сумерки... В сумерки надо размышлять. Я работаю по утрам, отдыхаю с друзьями днем, размышляю в сумерки, читаю по вечерам. А в десять я ложусь спать. Я прежде хорошо спал... Но теперь мне часто снятся дурные сны...

Голос его опять изменился и опять в нем послышался ужас.

– Мне снится кровь, убийства... Не знаю, что это значит, – медленно, с расстановкой сказал он. – Не знаю... Кровь, убийства... Почему это снится *мне*?.. Я не могу терять спокойствие... Не знаю... Ну, прощайте, молодой человек. Вы мне очень понравились. Я рад за милую Гедвигу... И пожалуйста, бросьте дипломатическую карьеру... Прощайте, молодой человек.

Он медленно пошел по дороге маленькими ровными шажками, высоко поднимая ноги и дыша по своей системе – носом.

Штааль долго смотрел ему вслед. Этот дряхлый старик, занимавшийся вопросом об основном зле человеческой природы, был, конечно, очень смешон. Тем не менее молодому человеку казалось, будто есть в нем и что-то непонятное, и совершенно недоступное, и даже страшное... Но что же именно?.. Штааль тяжело вздохнул и пошел разыскивать фройлейн Гертруду.

Невдалеке за Кантом следовал слегка выпивший Лампе. Он угрюмо думал, что здоровье господина профессора начинает явно опускаться. Прежде господин профессор не стал бы терять время, положенное для прогулки, на пустые разговоры с каким-то мальчишкой. Этот мальчишка еще, кажется, потешался над старостью господина профессора. Дурачок! Лампе вспоминал, как в их кабинет на Prinzessinstrasse робко входили почтенные, седые ученые, приезжавшие со всех сторон Германии для того, чтобы увидеть господина профессора; вспоминал

---

<sup>76</sup> «Религия в пределах чистого разума» (нем.).

<sup>77</sup> То, что мир лежит во зле, – это жалоба, которая так же стара, как история (нем.).

<sup>78</sup> «Об изначальном зле в человеческой природе» (нем.).

и то молитвенное выражение, с каким эти заслуженные люди иногда смотрели на голову господина профессора... Но в последнее время на лицах этих людей, когда они выходили из кабинета, он как будто читал огорчение, скрываемую скорбь – или ему так казалось?.. Да, конечно, профессор Кант стар. Но это все-таки профессор Кант... И если б существовала на свете справедливость, ему поистине надлежало бы иметь чин *Geheimrat'a*<sup>79</sup>.

## 12

Хотя Штааль приобрел в Петербурге некоторую привычку к высокопоставленным людям, он не без робости ждал, подъезжая на кебе к русской миссии в Лондоне, свидания с генерал-поручиком, графом Римской империи Семеном Романовичем Воронцовым. По тому тону, в котором говорили о Воронцове и Безбородко, и Ростопчин, и даже Иванчук, Штааль чувствовал, что русский посланник в Англии – человек не совсем обыкновенный. Этот исполненный уважения тон, столь редко принимаемый в отношении отсутствующих людей, было трудно объяснить высоким общественным положением графа Воронцова. Семен Романович не был богат; огромное состояние его отца было в значительной части конфисковано при вступлении на престол Екатерины. Воронцов принадлежал к старой русской знати, – его род восходил к XI веку, к сказочному князю Шимону Африкановичу, – но их семья не пользовалась расположением императрицы. Не сделал Семен Романович и блестящей служебной карьеры.

Воронцову было восемнадцать лет в дни петербургского переворота 1762 года. Он решительно принял тогда сторону Петра III, хотя сам точно не знал почему. Здесь имела значение и милость, которой пользовалась у императора его семья. Имело значение и соперничество знаменитых полков: Семен Романович был преображенец, тогда как Екатерину возводили на престол семеновцы и измайловцы. А главной причиной было отвращение, которое ему внушала личность императрицы Екатерины. От этого чувства Семен Романович не мог никогда отделаться и впоследствии. Род Воронцовых был так близок к престолу, что дела царской семьи они чувствовали почти как собственные свои дела. Семен Романович инстинктивно усвоил то самое отношение к императрице, которое со времен Николая I было принято в династии Романовых: Екатерина, при всех своих государственных заслугах, рассматривалась как фамильный скандал, и говорить о ней считалось неудобным.

Поведение Воронцова в дни переворота 1762 года не было забыто. Арестованный с оружием в руках, но вскоре выпущенный на свободу, Семен Романович не пожелал остаться в гвардейском полку. Дальнейшая его служба протекала большей частью в действующей армии. Однако, несмотря на храбрость и боевые заслуги графа (его высоко ценил сам Румянцев), хода ему не давали, особенно после того, как он отклонил предложение, сделанное ему Потемкиным, вернуться в Преображенский полк, находившийся под командой фаворита. Семен Романович вышел наконец в отставку и уехал за границу. Впоследствии Безбородко уговорил его занять важный и самостоятельный пост по дипломатическому ведомству. В должности русского чрезвычайного посланника в Англии Воронцов продолжал держать себя довольно независимо в отношении государыни и фаворитов: часто резко отвечал на письма Екатерины, а Зубову не позволял вмешиваться в дела миссии. Его давно сместили бы, если б императрица не знала, что британское правительство относится к Воронцову с исключительным уважением и что посланником у англичан непременно надо иметь умного и неподкупного человека.

Граф Семен Романович, высокий, красивый, преждевременно поседевший человек с усталым, болезненным, очень тонким лицом, чрезвычайно ласково принял гостя, без следов гордости и барства, которых побаивался Штааль. Воронцов был такой настоящий аристократ и так это было само собой очевидно и для него самого, и для всех окружающих, что ему не при-

---

<sup>79</sup> Тайный советник (нем.).

ходило в голову выставлять или подчеркивать свое барство, как это часто делали Ростопчин, Зубов и много других лиц, не *настоящих* или не совсем *настоящих*, встречавшихся Штаалю в Петербурге.

Молодой человек сказал с первых слов, что имеет секретную миссию; он говорил по-французски – отчасти для важности, отчасти потому, что, как его предупредили, посланник несколько отвык за границей от русской речи.

Воронцов приветливо улыбнулся.

– Знаю, знаю секретные миссии графа Александра Андреевича, – сказал он добродушно. – Приезжал сюда тоже молодой Комаровский, – говорит, привез важные депеши. Я вскрыл пакет – смотрю: кроме старых газет, ничего. Граф просто послал молодого человека покататься по Европе – и прекрасно сделал... Впрочем, разумеется, не всегда так бывает, – добавил Воронцов серьезно, заметив огорчение на лице Штааля. – Познакомьте же меня с вашей миссией...

Он внимательно выслушал объяснение молодого человека. Узнав, что Штааль привез *стафету* не только от Безбородко, но и от Зубова, Семен Романович несколько нахмурился, не зная, что подумать: непонятно было, каким образом одно лицо могло иметь доверительные поручения одновременно от двух ненавидевших друг друга политических деятелей, и это плохо рекомендовало Штааля в глазах посланника. Еще непонятней было, почему совсем молодому человеку поручена задача, явно предполагавшая очень основательное знакомство со всей европейской политикой.

«Впрочем, теперь нравы другие, – подумал Воронцов. – *Nous avons change tout cela*<sup>80</sup>. Может – в Англии! – Питт стать премьером в двадцать четыре года...»

– О вашей миссии, – сказал он, – разговор должен быть долгий. Вы приехали в интересный момент. Идеи новой тактики начинают прокладывать себе дорогу в рядах французской эмиграции... Этот епископ Отенский очень, очень умный человек. Но о делах мы поговорим немного позже, – теперь пойдемте, я вас напою русским чаем, а вы нам расскажете разные новости. Нам – это моему советнику Лизакевичу – прекраснейший, благороднейший человек – и мне; больше не будет никого. Живем мы, как видите, небогато. Помню поговорку: не строй каменного дома в приданной деревне...

Воронцов провел Штааля из кабинета в гостиную. Молодой человек был рад отсрочке серьезного разговора. Слова «новая тактика», очевидно относившиеся к чему-то всем известному, его несколько смутили: он не слышал ни о новой, ни о старой тактике французских эмигрантов. Совершенно незнакомо ему было также имя епископа Отенского. Штааль боялся показаться посланнику недостаточно подготовленным для своей миссии: девятнадцать лет губили его карьеру.

Воронцов познакомил гостя с Лизакевичем, очень мрачным, элегантным старичком. Кроме него в гостиной был еще мальчик в костюме английского школьника.

– Мой сын, – сказал Семен Романович, и по тому, как он это сказал и как смотрел на сына, можно было понять, что вся жизнь графа сосредоточена на мальчике. – Вы, может быть, пьете не чай, а *half and half*<sup>81</sup>, – спросил он Штааля, улыбаясь. – Ах, вы еще не знаете, что такое *half and half*? И слава Богу: не мне вам объяснять. Я сам пью только свою минеральную воду, – превосходная вода... Ну, теперь расскажите нам петербургские новости.

Штааль не ударил в грязь лицом. Поделился некоторыми подробностями, касающимися свадьбы великого князя Александра; рассказал о новых чудачествах наследника престола; сообщил, что Валерьян Зубов надеется пройти в генерал-поручики, что Щербатов женится на Пушкиной, а Строганова выходит за Демидова. Все это он рассказывал в том слегка насмеш-

---

<sup>80</sup> Мы все это изменили (*франц.*).

<sup>81</sup> Здесь; портер и эль в равных дозах (*англ.*).

ливом, но неуверенном тоне, в каком обыкновенно говорят умные мальчишки, только что перешедшие или переходящие на положение взрослых. И рассказывал он обо всех этих знатных людях, опуская их титулы, точно речь шла о знакомых ему с детства приятелях. Штааль скоро заметил, что его новости мало интересуют Воронцова, хотя посланник слушал внимательно и учтиво. Тогда молодой человек решил поднять тему разговора и упомянул о деле Новикова, очень, впрочем, неопределенно: он больше не знал, что следует думать о таких людях, как Новиков и Радищев.

Лицо Воронцова сразу потемнело. С удивившей Штаалья резкостью выражений он отозвался о поведении правительства и князя Прозоровского в этом *гнусном деле*. Строго посматривая на юношу, но обращаясь преимущественно к Лизакевичу, Воронцов заявил категорически, что Николай Иванович Новиков благороднейший, прекраснейший человек. Вся его вина заключается, по-видимому, в том, что он желал вывести из невежества наш темный, дикий народ, желая предупредить в России возможность событий, много худших, нежели французская революция, тоже достаточно ужасная и отвратительная.

– On a trop vite oublié la пугачевщина à Saint-Petersbourg<sup>82</sup>, – волнуясь, закончил Семен Романович.

Штаалю стало неловко. Он только теперь понял, что вполне сочувствует взглядам Воронцова, и боялся, как бы его молчание не было ложно истолковано.

– Je crois...<sup>83</sup> – начал он, но Воронцов на этот раз его перебил, несмотря на всю свою вежливость.

– А Радищев, которого *они* сослали в Сибирь! – нервно заговорил он, обращаясь к Лизакевичу. – Друг моего брата, прекрасный, благороднейший, просвещенный человек, гордость и слава России... В то время как все эти Зубовы... Нет, положительно, *они* сошли с ума в Петербурге... Так доводят страну до революции... Крым хотели заселить английскими каторжниками.

Воронцов схватился рукой за грудь и замолчал. Потом налил себе минеральной воды и стал пить медленными глотками.

Лизакевич робко на него поглядел и перевел разговор на другой предмет. Смущенный Штааль внезапно почувствовал большой интерес к своему маленькому соседу, сыну посланника, и стал вполголоса, покровительственно его расспрашивать об английской школе. Вскоре затем Лизакевич, желая дать Воронцову возможность немного отдохнуть от взволновавшего его разговора, предложил показать Штаалю некоторые достопримечательности посольства и архива. Молодой человек ухватился за это предложение и долго слушал совершенно не интересовавшие его пояснения к каким-то важным историческим бумагам.

– А что, скажите пожалуйста, – задал он не совсем кстати хитрый дипломатический вопрос, – правда ли, будто новая тактика имеет успех во французской эмиграции?

– Да как вам сказать? – ответил несколько удивленный Лизакевич. – Уж очень умный человек этот епископ Отенский.

«Попугай какой-то», – недовольно подумал ничего не выведавший Штааль.

Они вернулись в гостиную. Воронцов сидел на диване, нежно глядя сына рукой по волосам, и что-то рассказывал ему, тихо, задумчиво улыбаясь:

– Le second-major du regiment, Петр Петрович Воейков, le plus respectable des hommes, et le plus attaché à son légitime Souverain, galopa le long du regiment en repetant: «Ребята! Не забывайте вашу присягу к законному вашему государю императору Петру Федоровичу, умрем или останемся ему верны!»... Il nous tendit la main et pleura de joie, en voyant dans mon capitaine et moi

---

<sup>82</sup> В Санкт-Петербурге слишком быстро забыли пугачевщину (*франц.*).

<sup>83</sup> Я думаю!.. (*франц.*)

les memes sentiments d'honneur dont il etait anime. Apres cela il cria: ступай! et nous marchames vers l'eglise de Казанская... Catherine etait la...<sup>84</sup>

По тону речи и по радостному выражению лица Воронцова нетрудно было догадаться, что это воспоминание об его поведении в 1762 году было ему чрезвычайно приятно. Он ласково улыбнулся Штаалю и предложил гостю место около себя на диване. Мальчик сейчас же пересел по левую сторону отца. Лизакевич простился и ушел домой.

– Ну, теперь поговорим о вашей миссии, – сказал Семен Романович и подробно познакомил Штаалю с состоянием французской эмиграции.

Оказалось, что ее материальное положение становится все более скверным. Нужда усиливается; англичане помогают очень мало. Живут эмигранты главным образом продажей вещей, которые удалось вывезти из Франции. Магазин Pope and Co на Old Burlington Street занимается почти исключительно скупкой эмигрантских драгоценностей. Заработок находят очень немногие счастливицы – и какой заработок! Маркиза де Рео, графиня де Сессеваль торгуют в лавке, граф де Комон стал переплетчиком, мосье де Пайон – учитель танцев, граф де Буажелен преподает детям игру на клавесине, маркиза де Шабан-Лапалис открыла пансион, мадам де Гонто торгует какими-то коробочками... При этом из всех коммерческих предприятий, затеваемых эмигрантами, почти никогда ничего не выходит. Недавно пошла у них мода на сельское хозяйство: так, дочь маршала Ноайля купила где-то клочок земли, завела коров, доит их сама, работает целый день, – но у эмигрантов и коровыдохнут без причины... Одним словом, материальное положение ужасное: через год, если якобинцы не падут, в эмиграции начнется голод и, вероятно, полное разложение: «il y a – helas! – des grandes dames qui sont devenues marchandes de baisers»<sup>85</sup>, – добавил вполголоса граф. Очень скверно и моральное состояние эмигрантов. Хорошо только одно: все эти бывшие атеисты и вольтерьянцы теперь не выходят из церквей; говорят, во Франции тоже очень усилились религиозные настроения. В остальном – эмигрантское дело плохо. В последнее время много шума и еще больше злобы вызывают новые идеи, связываемые с именем бывшего епископа Отенского. Политический центр нового движения находится в Juniper Hall.

– Сущность новых идей вам, вероятно, известна? – заметил вежливо Воронцов (Штааль неопределенно мотнул головой). – Она заключается в признании так называемых завоеваний революции, les conquetes de la Revolution. Сторонники старых взглядов – огромное большинство эмигрантов – ненавидят всю Революцию от начала до конца и к деятелям ее первого периода относятся, пожалуй, более враждебно, чем к якобинцам. Якобинцев они даже уважают в душе за твердую власть, за гильотину, за то, что те показали, как надо править французским народом. Кроме того, они убеждены, что якобинский режим неизбежно должен привести к восстановлению старого строя. Калонн, как вы знаете, давно утверждает: «Sans jacobins point de salut»<sup>86</sup>. Само собой разумеется, что сторонники этих взглядов хотят восстановить монархию Бурбонов в прежнем виде, с самыми незначительными изменениями в законодательстве старого строя. Напротив, последователи нового направления, ненавидя нынешних властителей Франции, тем не менее очень многое в Революции принимают и считают вполне разумными идеи первого ее периода, принципы 1789 года и «Декларацию прав человека». В династию Бурбонов они верят плохо, а в возможность восстановления старого строя, хотя бы в исправленном виде, не верят совершенно. Мнения сильно расходятся также по вопросу о способах борьбы с якобинской властью. Сторонники старой тактики возлагают все надежды на интервенцию европейских держав и на вандейскую контрреволюционную армию Кателино, Стоффле

<sup>84</sup> Секунд-майор полка... самый достойный и самый верный своему государю человек, промчался вдоль строя, повторяя... Он протянул нам руку и заплакал от радости, увидев в моем капитане и во мне то же самое чувство чести, которое воодушевляло и его. Потом он крикнул... и мы зашагали к церкви... Екатерина была там... (франц.)

<sup>85</sup> «Есть, увы, знатные дамы, которые начали торговать поцелуями» (франц.).

<sup>86</sup> «Без якобинцев не обойтись» (франц.).

и Ларошжаклена, причем первых двух вождей они не очень жалуют: Стоффле – сын мельника, а Кателино – человек еще более низкого происхождения. Истинным героем эмигрировавшей аристократии является третий контрреволюционный вождь, граф де Ларошжаклен, который, вероятно, и будет главнокомандующим. Как бы то ни было, громадное большинство эмигрантов намерено сплотиться под знаменами Вандеи. Епископ же Отенский не верит в успех Вандейского восстания, а *потому* и не желает ему успеха.

– На что же рассчитывает епископ Отенский? – спросил осторожно Штааль.

– Да у него не разберешь, – ответил, усмехаясь, Воронцов. – Это субъект не слишком откровенный: «язык, – говорит он, – дан человеку для того, чтобы скрывать мысли». По-видимому, епископ находит, что его час еще не пришел. На известный вопрос: «Que faire?», заданный госпожой Сталь, он ответил: «Attendre et dormir, si l'on peut...»<sup>87</sup> В сущности, его новая тактика заключается в отсутствии всякой тактики: ждать терпеливо, возможно меньше себя компрометируя, – вот и все... Кажется, он рассчитывает, что якобинцы сами перережут друг друга. Но может быть, я и ошибаюсь: кто знает, что думает в действительности епископ Отенский?.. Должен вам сказать, я изложил лишь в самых общих чертах эмигрантские идеи и течения. И среди сторонников новой тактики, и среди сторонников старой существует немало подразделений: взгляды Лалли-Тлендаля, идеи Малле дю Пана, – вообще у многих эмигрантов есть единственный верный секрет спасения Франции. Идеиный разброд полный, поистине странное зрелище: все они переругались, перессорились, все друг друга в чем-то обвиняют, ненавидят друг друга едва ли не больше, чем якобинцев, и, разумеется, все выражают истинную волю Франции. А еще большой вопрос, есть ли у Франции в настоящее время истинная воля? – Я как-то сказал все это епископу Отенскому, – он засмеялся и назвал меня умным человеком... Теперь вдобавок, после поражения герцога Брауншвейгского, появилось еще новое эмигрантское течение. Оно призывает к возвращению во Францию и к совместной работе с якобинцами. Но об этих господах и говорить не стоит, – сказал с презрением Воронцов. – Я не люблю ни эмигрантов, ни якобинцев; но кающиеся эмигранты, как и кающиеся якобинцы (скоро появятся и такие), внушают мне совершенное отвращение... Вполне допускаю, что эти господа и подкуплены, – якобинцы тратят большие деньги на развращение эмиграции.

– Какой же ваш собственный взгляд на положение вещей во Франции? – спросил Штааль, мысленно составляя план блестящего доклада императрице.

– У меня нет определенного мнения, – ответил нехотя Воронцов. – Скорее всего, прав епископ Отенский: надо ждать, ничего другого не остается. Только мне, русскому, легко так рассуждать. А он – француз; у него в Париже режут друзей и родных... Вот тут и говори: «Attendre et dormir». У этого умнейшего человека течет в жилах не кровь, а холодная вода... Во всяком случае, я не очень стою за нашу интервенцию: нам во французские дела вмешиваться не следовало бы... Сами никогда не просили и не будем просить о чужом вмешательстве, ну и в чужие дела вы тоже не должны соваться. Я так и пишу императрице... Любопытно, что в вопросе об интервенции эмигранты возлагают теперь большие надежды на Англию, – но вместе с тем не верят ей ни на грош. Граф Водрейль прямо утверждает, что Англии выгодна французская революция и что Питт умышленно поддерживает якобинский развал. Это довольно распространенное мнение верно лишь отчасти: разумеется, Питт чрезвычайно хотел бы надолго и прочно ослабить Францию; но, с другой стороны, он сильно побаивается якобинской заразы. Надо вам сказать, что английское общество до войны очень благосклонно относилось к французской революции, несмотря на огромное впечатление, произведенное книгой Берка «*Reflexions on the Revolution in France*»<sup>88</sup>. Ни о какой войне с Францией не могло быть речи, вы еще и теперь найдете на заборах старые плакаты: «No war with

<sup>87</sup> «Что делать?» – «Ждать и спать, если можете...» (франц.)

<sup>88</sup> «Размышления о французской революции» (англ.).

French!»<sup>89</sup> Однако после казни короля настроение англичан сильно изменилось; боязнь заразы теперь очень сильна. Сам Питт ничего умного пока не придумал.

– А что такое ваш знаменитый Питт? – спросил Штааль.

– Питт? – переспросил, снова усмехнувшись, Воронцов. – В частной жизни это честнейший, благороднейший человек, безукоризненный джентльмен, образцовый сын, брат, дядя, друг. В политике, особенно во внешней, это совершеннейший мошенник и бандит, готовый для Англии на что угодно, *je dis*<sup>90</sup>, на что угодно. Якобинцы обвиняют его во всевозможнейших преступлениях. Говорят, например, будто он подкупил Николая Пари для убийства члена Конвента Лепелетье де Сен-Фаржо. По совести, не знаю, все ли в их обвинениях вздорно. Питт – англичанин и необыкновенно типичный англичанин: в этом его страшная сила. Он, как никто другой, угадывает чувства, настроения, мысли рядового великобританского гражданина. Какова бы ни была в данное время его политика – а она меняется часто, – как бы сильна ни была критика оппозиции – Фоке умнее и образованнее Питта, – вы можете быть уверены: Англия пойдет за Питтом. Он вдобавок большой знаток парламентского дела и поистине замечательный оратор: бюджетные речи произносит без клочка бумаги в руках. Я, впрочем, не считаю его большим государственным человеком. В иностранной политике он наделал много ошибок... Заметьте, этот властолюбец ничего не желает лично для себя: он раздает огромные синекуры друзьям, а сам беден, как церковная крыса. Ему часто предлагали награды, титулы, орден Подвязки, – он отказывался от всего. К женщинам тоже совершенно равнодушен, – говорят, будто он девственник. Питту ничего не нужно, кроме власти, – да еще нескольких бутылок портвейна в день: он пьет старый портвейн, как московские купцы пьют чай. Мы с ним большие друзья. В частной жизни я, ни минуты не колеблясь, доверил бы ему свое состояние, свою честь, все, что имею. Но когда я, как русский посланник, говорю о делах с ним, как с британским премьером, я держу себя так, как если бы передо мной находился бежавший из каторжной тюрьмы грабитель-рецидивист. Он это знает и потому относится ко мне с уважением – и как к человеку, и как к посланнику. По крайней мере, теперь: года два тому назад он очень хотел выжить меня отсюда. Вот что такое Питт... Впрочем, вы сами его увидите: через несколько дней у меня состоится – раут не раут, а так, небольшой прием. Будут и Питт, и Берк, и Талейран.

– Кто такой Талейран? – спросил робко Штааль.

– Да этот самый, бывший епископ Отенский, – пояснил удивленно Воронцов. – Его зовут Талейран де Перигор. Будет еще один интересный человек... Вы, я думаю, никогда не видели якобинца? *Un jacobin en chair et en os!*<sup>91</sup> Правда, не видели? Так вот, увидите. Это пастор Пристлей, очень любопытная фигура, чудо природы: старенький английский клерджимен и гордость французского Конвента!.. Словом, я угощу вас лучшими достопримечательностями Лондона... Мишенька, спать пора, – сказал вдруг нежно мальчику Воронцов.

Штааль поднялся и стал прощаться.

– Нет, вы посидите, – заметил Воронцов, положив ему руку на плечо. – Мы еще поговорим. Я отлучусь всего на пять минут, уложу сына. Прошу меня извинить. Оставляю вам журналы и ликеры... Только много не пейте, это вредно, – прибавил он добродушно, уводя засыпавшего на ходу мальчика.

Штааль взял для приличия газету и подумал было, уж не обидеться ли ему на Воронцова за последние слова: дипломату постарше посланник не сделал бы такого указания. Но он тотчас почувствовал, что ни в каком случае не обидится на Семена Романовича, ибо немного влюблен в этого красивого, умного и столько видевшего на своем веку человека. Ему даже было приятно дружелюбно-властное обращение с ним Воронцова – и он чуть-чуть завидовал

<sup>89</sup> «Нет войне против Франции!» (англ.)

<sup>90</sup> Я говорю (франц.).

<sup>91</sup> Якобинца собственной персоной! (франц.)

Мишеньке. Когда посол вернулся, у них началась долгая душевная беседа. Штааль перешел инстинктивно на русский язык и слово за слово рассказал слушавшему ласково Воронцову всю свою жизнь, очень искренне, – почти не прикрашивая, – от первых школьных впечатлений до встречи с Кантом в Кёнигсберге. Он был чрезвычайно удивлен, когда Семен Романович заметил, что этот Кант имеет у ученых людей репутацию величайшего философа в мире. Так, по крайней мере, говорил графу английский философ Нитш, большой знаток предмета. Штааль не мог поверить, что случайно встреченный им дряхлый, добрый старичок в потертом кафтане был новый Декарт. Это сообщение произвело на него сильное впечатление.

После ухода Штааля – совершенно очарованный Семеном Романовичем, он покинул миссию очень поздно – Воронцов еще долго сидел у камина, смотря задумчиво на огонь и рассеянно подталкивая железным прутом тлеющие уголья. Мысли русского посланника были печальны. Этот юноша хоть и несколько бесцветный («в его годы, впрочем, молодые люди всегда довольно бесцветны») и уж немного испорченный *ими* в Петербурге, но все-таки славный по природе, напомнил графу его самого в 1762 году. Воспоминание о 1762 годе было приятно Воронцову, но вместе с тем оно поднимало ряд чувств, которые он не любил в себе вызывать.

«Да, жизнь не удалась, и в ней ничего не остается, кроме Мишеньки... Из Мишеньки, конечно, выйдет превосходный, замечательный, новый человек<sup>92</sup>. По-видимому, я не был создан ни для войны, ни для политики. Да может ли вообще удасться жизнь в это жестокое время? На что рассчитывать порядочным людям в век Маратов и Прозоровских? Надо было родиться позднее. Через сто лет никто не будет проливать крови... Это, к счастью, совершенно достоверно...»

## 13

Бывший епископ Отенский, столь знаменитый в истории под именем князя Талейрана, стоя в одном белье под лампой, тускло светящей с потолка, старательно чистил щеткой башмаки. До начала приема у русского посланника оставалось не более часа. Талейрану не слишком хотелось идти на этот прием. У графа Воронцова собиралось самое лучшее общество Лондона, но почти всегда в таком сочетании, какого не мог себе позволить ни один другой салон. Английские гостиные из-за разгара страстей, отвечавшего грозному ходу французской революции, становились все замкнутее и нетерпимее. Виги перестали бывать у тори, тори больше не ходили в гости к вигам. Жены, разумеется, разделяли политические страсти мужей. Только в нейтральных салонах иностранных послов еще считали возможным встречаться люди противоположных взглядов. В дипломатическом же корпусе граф Воронцов занимал первое место – благодаря счастливому сочетанию высокого личного авторитета с огромным военно-политическим престижем России. Попасть к нему на прием считалось большой честью.

Талейран хорошо знал, что Воронцов зовет на него англичан как на дорогое, редкое, хотя и не совсем удобоваримое блюдо. Всем было интересно увидеть бывшего революционного епископа, которого его соотечественники эмигранты ненавидели не менее страстно, чем Марата или Робеспьера. К тому же еще задолго до революции по Европе ходили рассказы об уме, остроумии и тонкости мысли епископа Отенского. Но после казни короля Людовика XVI англичанам не представлялось удобным звать в гости отставного прелата, еще совсем недавно заседавшего в Учредительном собрании, дружившего с якобинцами и принимавшего от них дипломатические миссии. Приглашать подобного гостя решались только люди с таким общественным положением, которого никто и ничто поколебать не могло. Из английских аристократов принимал Талейрана у себя (и то больше назло Питту) лишь старый лорд Лансдоун. Однако

---

<sup>92</sup> Впоследствии светлейший князь М.С. Воронцов, известный по злой эпиграмме Пушкина, выведенный Л.Н. Толстым в «Хаджи-Мурате». – Автор.

и этот почтенный, знатный, заслуженный человек, бывший первый лорд казначейства, – как прекрасно видел Талейран, звал его к себе только на маленькие вечера, на которых бывали одни очень свободомыслящие люди – Фоке, Пристлей, Бентам, Ромилли. И свободомыслящие люди эти как будто даже несколько щеголяли тем, что не боятся знакомства с бывшим епископом Отенским. Обычное общество лорда Лансдоуна не считало удобным встречаться с Талейраном, хотя, понятно, сгорало любопытством. Приглашать же его к себе одновременно с первым министром и с Берком – это мог себе позволить только русский посланник граф Воронцов, как русский, как посланник и как граф Воронцов. Талейрану, однако, не хотелось являть в самом чопорном обществе мира зрелище не совсем приличного гостя, – вдобавок рискуя скандалом, если бы на раут оказался приглашенным кто-либо из французских эмигрантов.

Старательно вычистив башмаки и вздохнув при виде начавших стираться сзади каблучков, бывший епископ отложил сапожную щетку, достал из незапирающегося шкапа с испорченным замком свой единственный вечерний костюм, разложил на столе, пододвинув стол под лампу, и тщательно осмотрел. Осмотр дал удовлетворительные результаты: пятен на костюме не было, а дыру на брюках портной зашил так, что никто, наверное, ничего не мог заметить. Талейран надел костюм и башмаки, обновил пудру на голове и протянул сквозь жилетную петлю дорогую цепочку золотого прекрасного брегета. Этот брегет с цепочкой да еще тонкое белоснежное белье, вывезенное из Парижа (тогда Париж диктовал Лондону законы мужской моды), одни свидетельствовали о том, что их обладатель знал лучшие времена. Опуская часы в карман, Талейран вспомнил, как прежде отправлялся на балы в Париже, при покойном *тиране* Людовике XVI. Он усмехнулся и пожал плечами. По принятому в эмиграции тону требовалось делать вид, будто неожиданная потеря состояния и непривычные материальные лишения не имеют решительно никакого значения: сожалеть о богатстве могли только не настоящие эмигранты, а случайно попавшие в их среду люди другого круга. Настоящим же полагалось скорбеть лишь о казни короля, о гибели родины и об унижении дворянского класса. Роль эта выдерживалась очень строго. Разумеется, в действительности потеря состояния, свободы, привычных занятий и общественного положения ощущалась громадным большинством эмигрантов гораздо болезненней, чем несчастья, выпавшие на долю Франции. Гибель Франции чувствовалась иногда – при чтении газет, при разговоре с бестактным иностранцем; личные же несчастья ощущались каждую минуту в течение целого дня. Талейран, расходясь во всем другом с эмигрантами, думал, что в этом отношении они взяли верный, наиболее достойный тон, и молчаливо ему следовал. На рауте Воронцова следовало быть одетым прилично, но чрезвычайно скромно. Та элегантность, которой епископ Отенский когда-то щеголял в Париже, здесь в эмиграции свидетельствовала бы о дурном вкусе. Да и трудно было с его нынешними средствами удивить элегантностью общество, собиравшееся на раутах русского посланника.

Шарль Морис Талейран де Перигор принадлежал по рождению к одной из очень знатных французских семей, находившейся в тесном родстве с герцогами Мортемар и князьями Шале. Четырех лет от роду, упав с комода, он вывихнул себе ногу и остался навсегда полухромым. Этот несчастный случай предопределил всю дальнейшую жизнь Талейрана. Вместо военной карьеры он должен был избрать карьеру духовную, о которой в отроческие годы не мог подумать без ужаса. Ко времени принятия им священнического сана он совершенно не верил в Бога и не чувствовал в вере решительно никакой потребности. Это обстоятельство, однако, не так смущало Талейрана: он знал, что атеисты нередко встречались и среди кардиналов, и даже среди римских пап. Гораздо больше беспокоили его разные практические неудобства, связанные с духовным саном. Неудобства эти оказались, однако, вполне устранимыми. В частности, в весьма заботившем Талейрана вопросе о ночном времяпровождении ему удалось устранить практические неудобства радикально: в двадцать пять лет молодой аббат имел такое прошлое и такую репутацию, что сам старый маршал, герцог Ришелье, знаменитый развратник времен Людовика XV, скорбно говорил приятелям, возвращаясь под утро к себе домой: «Увидите,

меня совершенно затмит этот мальчишка Талейран». А приятели только руками разводили, недоумевая, чем и как можно затмить в его области старого маршала де Ришелье.

Аббат Талейран де Перигор очень быстро приобрел чрезвычайную популярность в разных кругах французской столицы. Он был необыкновенно умен. Талейран одинаково блистал умом в богословском споре со светилами католической церкви, в разговоре на литературные или философские темы с первыми писателями Франции, в отношениях с женщинами, и в частности с бесчисленными своими любовницами, в изысканной салонной *causerie*<sup>93</sup> и в полупьяной застольной беседе. Тогда еще не знали, что главная его сила – политика и что в лице молодого прелата на политическую сцену выходит один из самых необычайных актеров века. В высшем свете Парижа Талейран был нарасхват. В то странное время – в последнее время перед Революцией – салоны управляли страной: в салонах создавались министры, кардиналы, маршалы, послы; королевское правительство считалось только с мнением салонов, но зато с ними считалось чрезвычайно. В гостиной каждой знатной дамы был свой замечательный человек, который мог и должен был спасти Францию (близость бури смутно чувствовалась всеми – и все радостно ее ждали). Так, у княгини Бово царствовал Неккер, у герцогини де Люин – Калонн, у графини де Бло – епископ Аррасский. Талейран же считался замечательным человеком везде, и его одновременно выдвигал целый ряд салонов. Он устраивал также небольшие приемы у себя в Bellechasse: он принимал по утрам, – это тогда было модно, – и собирались у него главным образом люди с дипломом ума, таланта и славы: Мирабо, Шамфор, Делиль, Рюльер, Бартес, Дюпон де Немур. Всякий знаменитый иностранец, попадая в Париж, старался добиться приглашения на завтрак епископа Отенского. Политикой Талейран занимался сравнительно мало. Для настоящей большой политики он ждал высокого духовного сана. Его церковная карьера шла очень быстро. Тридцати четырех лет от роду он был назначен епископом Отенским и имел большие шансы на получение кардинальской шапки; за него хлопотал в Риме очарованный им шведский король; а папа, разумеется, не мог отказать в одолжении протестантскому монарху. Талейран страстно ждал кардинальского сана для того, чтобы тогда заговорить с властью языком князя церкви.

Помешала – Французская революция. Событие, о котором в последние годы старого строя мечтали чуть ли не все французы, а больше всего люди, четыре года спустя взшедшие на эшафот, стало наконец действительностью. В эти первые дни упоения народной победой, когда знатнейшие вельможи страны приветствовали *самую бескровную из всех революций истории*, Талейран был настроен иначе. Со своей обычной приветливой улыбкой он ходил по разным местам, по салонам, по кофейням, по улицам, все осведомлялся, присматривался, выспрашивал. Своего мнения он не высказывал: но по сочувственной улыбке епископа его восторженные собеседники естественно заключали, что он совершенно с ними согласен и разделяет общий энтузиазм.

В июле 1789 года епископ Отенский ночью отправился в Марли, где тогда находился двор, и потребовал свидания с королем или с братом, графом д'Артуа, который собирался покинуть Францию. Несмотря на позднее время, удивленный граф д'Артуа принял епископа. С равнодушной усмешкой Талейран изложил принцу свой взгляд на положение вещей. Произшедшая бескровная революция есть лишь начало очень большой трагедии, где погибнет много репутаций и слетит еще больше голов. Старый порядок отжил свой век и вдобавок прогнил насквозь. Король слабый человек, двор представляет собой жалкое зрелище. Высшие классы общества во всех отношениях ничтожны и решительно ничего не могут противопоставить быстро идущей грозной волне. Радостная бескровная революция очень скоро станет жестокой кровавой революцией. В стране начнется небывалый и неслыханный развал. Через месяц, наверное, будет поздно для каких бы то ни было действий. Но теперь, пожалуй, еще можно

<sup>93</sup> Разговор (франц.).

сыграть решительную игру. План епископа был прост. Он предлагал подвести к столице верные престолу войска, и в частности наемный немецкий полк Royal Allemand, разогнать бунтующих депутатов, а затем возможно скорее провести ряд самых нужных народу, глубоких и смелых реформ. Для осуществления этой программы он скромно предлагал свои услуги. Но так как действовать необходимо безотлагательно, каждый час дорог – епископ почтительнейше просил его высочество немедленно разбудить короля и пригласить его для серьезного разговора. Удивленный граф д'Артуа возразил, что депутаты не дадут разогнать себя без сопротивления, – стало быть, произойдет резня. Епископ Отенский, улыбаясь так же приятно и скромно, подтвердил, что предположение его высочества действительно весьма правдоподобно; но разгон и резню он тоже берет на себя, – разумеется, если ему будут даны неограниченные полномочия. Принц был совершенно озадачен. Он думал, что хорошо знает Талейрана, и, как все, очень высоко его ценил. Но граф д'Артуа не мог понять, каким образом этот мягкий, так приятно улыбающийся, прекрасно воспитанный салонный человек, никогда в жизни никому не сказавший невежливое слова и почти всегда державшийся того же мнения, что и собеседники, не только предлагает столь страшные вещи, но и берется сам за их осуществление. Граф д'Артуа, будущий Карл X, не был лишен инстинктивного чутья людей. Он немного подумал и пошел будить своего брата. Однако король, которому очень хотелось спать, не вышел к позднему гостю. Он велел сказать епископу Отенскому, что приглашает его прийти потолковать как-нибудь в другой раз; к тому же беспорядки, вероятно, скоро улягутся сами собой. Граф д'Артуа добавил, что король ни на какое кровопролитие не согласится. Лицо епископа Отенского дернулось при этом ответе. Но сейчас же на нем заиграла прежняя равнодушно-приветливая усмешка. В самых учтивых выражениях он объяснил принцу, что каждый человек имеет полное право губить себя, но что это только право, а вовсе не обязанность. Поэтому граф д'Артуа не должен удивляться, если скоро узнает, что политическая карьера епископа Отенского приняла новое, неожиданное направление.

И действительно, немедленно вслед за разговором с принцем Талейран стал, в рядах духовенства, одним из самых горячих сторонников Революции. Но, всячески подчеркивая свои свободолюбивые гражданские чувства, он вместе с тем старался не слишком вылезать на вид. При его огромном умственном превосходстве над большинством политических деятелей того времени ему нетрудно было бы сделать блестящую революционную карьеру. Он не спешил, однако, с революционной карьерой и не выступал в Учредительном собрании по острым вопросам. Необыкновенный знаток людей, Талейран сразу замечал и старался расположить в свою пользу всякого нового, подающего надежды человека, всякую новую социальную группу, которая могла в будущем приобрести силу и значение. Он предложил и провел закон об уравнивании евреев в правах с остальными гражданами Франции; чрезвычайно также старался о том, чтобы ему была прощена его принадлежность к высшему духовенству, которое становилось все менее популярным. Когда вместо старых реакционных епископов были избраны другие, либеральные, Рим отказался утвердить этих новых выборных епископов. Они не могли вступить в должность, не получив санкции какой-либо духовной особы, занимавшей в церкви высокое положение. Такой высокой особой являлся среди революционеров епископ Отенский – и он немедленно предложил заменить собой римского папу. Это было одной из главных причин ненависти к нему всей консервативной Франции. Приятелей же Талейрана, прекрасно знавших, что он не верит ни в Бога, ни в черта, чрезвычайно позабавила торжественная церемония, в которой епископ Отенский дал новым прелатам свое пастырское благословение. Вскоре после этой пышной церемонии Талейран пришел к мысли, что настали плохие времена даже для самых либеральных духовных осей, – и он скромно, из *цивизма*, сложил с себя звание римско-католического епископа.

Так, стараясь не обращать на себя внимания, часто уезжая из Парижа с разными дипломатическими миссиями, он благополучно прожил первые три года революции. 10 августа

1792 года Тюльерийский дворец был взят толпой и пала тысячелетняя французская монархия. Талейран опубликовал горячий привет этому событию – и решил, что теперь настало время бежать, бежать всем: аристократам и революционерам, умеренным и крайним. Но тайно переходить границу, быть объявленным вне закона ему не хотелось. По разным причинам он находил более удобным уехать вполне легально, с паспортом, поручениями и деньгами революционного правительства.

В ту пору Дантон полновластно правил Францией. Главный деятель дня 10 августа, министр юстиции, член исполнительного комитета, он фактически был диктатором. Все лежало на нем. Не имея понятия о военной науке, он создавал армию для борьбы с внешним врагом; не зная иностранных дел, направлял внешнюю политику Франции; нисколько не интересуясь законами, был министром юстиции. Он принимал на себя ответственность за все: за судьбы родины, за безопасность Парижа, за погромы и резню роялистов. Его чудовищный голос охрип от вдохновенно-бешеных речей в Собрании, глаза налились кровью от волнения и бессонных ночей. Дантон был почти безумен. По улицам Парижа уже лилась кровь сентябрьских убийств. Талейран знал Дантона, как он знал всех, и был с ним, как со всеми, в очень хороших отношениях. Хотя выдача паспортов формально зависела не от Дантона, Талейран отправился к нему, а не к Лебрену и не к Ролану; он в серьезных случаях всегда предпочитал иметь дело с умными людьми, кто бы они ни были. Народный трибун принял его в здании министерства на Place Vendome. Талейран очень хорошо знал, что в тюрьмах режут без суда заключенных, – если не по наущению (как говорила молва), то с попустительства всемогущего министра юстиции. Среди людей, которых резали в тюрьмах, у бывшего епископа Отенского были друзья и родные. Это нисколько ему не помешало ласково, с равнодушно-приятной улыбкой пожать руку Дантона. Заботливо осведомившись о здоровье министра, он вкратце изложил ему свое дело: Талейран находил необходимым ввести во Франции единообразную систему мер и весов – и желал получить для этой цели командировку в Англию, чтобы столкнуться о мерах и весах с британскими учеными и правительственными кругами. Ввиду крайней важности вопроса он просил выдать ему немедленно заграничный паспорт.

Когда бывший епископ заговорил об единообразной системе мер и весов и о крайней срочности этого вопроса, Дантон в первую минуту подумал, что знаменитый циник издевается, и выкатил на него свои налитые кровью маленькие глаза. Но лицо епископа Отенского было совершенно невозмутимо: на нем играла приятно-равнодушная усмешка. Дантон понял... С минуту оба человека в упор смотрели друг на друга. Их взгляды говорили многое. «Бежишь? Неужели настало время?» – спрашивали переливающиеся кровью глаза Дантона. «Да, я бегу, бегу надолго, бегу, спасая свою жизнь, а ты останешься и погибнешь!» – отвечала усмешка епископа. Дантон верил в политическую проницательность Талейрана, да и сам смутно предчувствовал свою неизбежную близкую гибель. У него была слабость к очень умным людям. Он подумал, что этот бесчестный, бесстрастный, дальновидный человек еще, пожалуй, пригодится Франции. Дантон вытер лоб платком и отдал распоряжение о выдаче Талейрану заграничного паспорта.

Так очутился в Лондоне бывший епископ Отенский. На эшафоте пал французский король, начинался небывалый террор, – Талейран почти равнодушно узнавал из газет о страшных событиях Революции. Личные заботы его сводились к тому, чтобы продержаться до своего времени. Денег ему удалось вывезти лишь очень немного; он все больше приходил к мысли, что рано или поздно придется продать книги. За его лондонскую библиотеку букинисты предлагали семьсот пятьдесят фунтов, по тому времени немалую сумму. Но книги были последнее, что еще любил Талейран. В душе епископа Отенского, холодной, сухой и мрачной от природы, образовалась совершенная пустота после всего того, что он видел, наблюдая вблизи кухню монархии и революции. Он оставался по-прежнему учтивейшим и любезнейшим человеком;

учтивейшие и любезнейшие люди в большинстве случаев выходят из совершенных мизантропов.

Талейран надел плащ, вдвинул под рукава манжеты рубашки, чтобы их не покрыла немедленно лондонская угольная копоть, погасил лампу и вышел на Woodstockstreet. Тратиться на извозчика не приходилось. Бывший епископ пошел пешком, с ненавистью поглядывая на обгонявших его в экипажах богатых англичан и от всей души желая им попасть в лапы к якобинцам.

## 14

В качестве своего человека, каким он стал за несколько дней в доме графа Воронцова, Штааль явился на раут чуть ли не в восемь часов вечера. Распорядившись приемом Лизакевич, большой, хоть отставной и несколько разочарованный, знаток требований светского этикета, критически осмотрел юношу и снисходительно сказал «all right»; однако рекомендовал впредь надевать к фракту галстук, достигающий лишь до подбородка, а не до ушей. Штааль сослался было на авторитет князя Бориса Голицына. Но на это разочарованный советник с презрением заметил, что князь Голицын – шарлатан, которого только в Петербурге могли произвести в законодатели моды; в Европе же моду предписывают принц Уэльский и граф д'Артуа – и больше никто. С Лизакевичем вступил в спор секретарь миссии Кривцов, чрезвычайно живой юноша, раз навсегда усвоивший себе беззаботно-веселое ироническое отношение ко всему на свете. Этот тон очень шел дипломату и способствовал карьере Кривцова. Молодой секретарь, неизменно во всем возражавший Лизакевичу, доказывал, что граф д'Артуа больше не является законодателем в вопросах моды, ибо, во-первых, Бурбоны потеряли престол, а во-вторых, панталоны *sans un pli*<sup>94</sup>, которые пытался ввести французский принц, скандально провалились. Лизакевич не удостоил Кривцова ответа по существу.

– На кого вы лапу поднимаете? – сказал он с презрением, смеривая молодого человека взглядом. – Вот тоже отыскался знаток... Вы бы сначала выучились приглашения писать как следует. Этот юнец, – обратился он к Штаалу, – младшему сыну графа написал на конверте «лорд». А я десять раз объяснял: только младшие сыновья герцогов и маркизов имеют *courtesy title*<sup>95</sup> лорда; а дети графов, виконтов и баронов все *honourable*, только *honourable*<sup>96</sup>. Ну, что там о нас подумают? Ясно, скажут: дикари...

Советник Лизакевич, старый, совершенно разоренный карточной игрой и чьим-то банкротством дипломат, один во всей миссии знал сложную науку английских приглашений и, не заглядывая в справочник, мог сказать полные титулы – настоящие и *courtesy titles* – всех лордов королевства, равно как их старших и младших сыновей.

– Виноват, ошибся, Василий Григорьевич, – сказал как будто насмешливо, но и несколько досадуя на себя за промах, Кривцов. – Англичане и не то делают. Семена Романовича называют «граф Романович Воронцов», – я сам читал в газетах.

Послышался смех. Лизакевич недовольно оглянулся на Штаала и на секретарей.

– Смейтесь, смейтесь над англичанами, – проговорил он. – У нас газеты пишут «сэр Грей» вместо «сэр Чарльз Грей», и мы не смеемся, хоть это так же неграмотно, как «Романович Воронцов». Только англичанам простительнее, потому что Россия – дикая страна и ее обычаи знать необязательно. Ну да что с вами говорить!.. Лорд Аукленд наверное будет? – обратился он с вопросом к другому секретарю.

– Приедет с дочерью, – ответил тот.

---

<sup>94</sup> Без единой морщинки (*франц.*).

<sup>95</sup> Почетный титул (*англ.*).

<sup>96</sup> Высокородный (*англ.*).

– Кто такой? – тихо спросил Штааль Кривцова.

– Лорд Аукленд, – строго повторил услышавший Лизакевич. – Виллиам Эден, первый барон Аукленд, посланник в Нидерландах. Только что прибыл в Лондон на несколько дней...

– Дело не в лорде, а в его дочери, – пояснил Штаалю Кривцов. – Очень батюшка хотят выдать девочку за Питта и уж кстати, по случаю брака, получить должность хранителя печати. А вот Питт не желает, говорят, ни жениться на мисс Элеоноре, ни давать the privy seal<sup>97</sup> ее отцу. Я держал пари, что он не женится. На Питте тщетно пробовали свои чары первые красавицы Европы...

Секретари миссии вступили в спор о генеалогии лорда Аукленда; затем перешли на генеалогические вопросы вообще. Кривцов доказывал, что Кривцовы, Еропкины, Татищевы, Дмитриевы-Мамоновы, Ляпуновы – те же Рюриковичи, хоть и утратили княжеский титул. Другой служащий миссии, Назаревский, категорически это отрицал; по его мнению, одни только сохранившиеся княжеские фамилии представляли собой истинное потомство Рюрика. Штааль с горечью слушал спор; он ощущал в таких случаях особенно болезненно собственное темное происхождение.

Ровно в десять часов вечера Семен Романович хмуро вышел из своего кабинета. Лизакевич немедленно его поймал и поделился с ним каким-то сомнением, касающимся приема первого министра. Воронцов, у которого болела голова, досадливо отмахнулся.

– Сажайте Питта куда хотите, – сказал он. – Или еще лучше, пусть он садится сам, без ваших указаний. Да ведь ужина нынче не будет? И пожалуйста, не волнуйтесь: велика невидаль Питт. Кстати, он предупредил меня, что приедет очень поздно...

И, услышав снизу удар молотка, Семен Романович со вздохом направился на свой пост – на верхнюю площадку парадной лестницы, у входа в первую гостиную. Там он встречал приглашенных, обольстительно улыбаясь каждому входящему, говоря всем самые любезные вещи и затем сдавая гостей Лизакевичу, исполнявшему роль хозяйки.

Одним из первых приехал на раут Берк. Для него Семен Романович не мог сразу придумать ничего приятного. Он знал, что сделать особенное удовольствие Берку можно было, только выбрав Фокса или французскую революцию. Но ругать Фокса Воронцов не хотел, ибо очень уважал вождя оппозиции; а начинать с дверей салона разговор о французской революции находил неудобным: Семен Романович знал к тому же, что вечер пройдет все равно в разговорах о французской революции. Он поэтому ограничился замечанием о необыкновенной свежести лица и цветущем виде гостя. Шестидесятилетний Берк приятно улыбнулся, тряхнул буколькоками и последовал, переваливаясь, в гостиную.

Берк в то время находился на крайней вершине славы. Его книга «*Reflexions on the Revolution in France*», выдержавшая одиннадцать изданий в течение года, сделала его первым теоретиком, вдохновителем и даже практическим вождем антиреволюционного движения во всем мире. Русская императрица, польский король, граф д'Артуа искали его дружбы и просили у него советов. Премьер вел с ним переговоры о пожаловании ему звания лорда и большой денежной пенсии. Берку не хотелось покидать Палату общин; тем не менее он почти решил принять предложение Питта и уже наметил для себя, по местонахождению своего поместья, титул лорда Биконсфилда. Он даже часто мысленно представлял себе это звучное имя на обложке полного собрания своих сочинений, о котором подумывал, как всякий писатель: в библиотеках образованных англичан должны были занять почетное место красивые, отпечатанные на толстой гладкой бумаге томы in octavo (он любил этот формат) с золотой надписью на темных кожаных корешках: *Works of lord Beaconsfield*<sup>98</sup>.

<sup>97</sup> Малая государственная печать (англ.).

<sup>98</sup> Малая государственная печать (англ.).

Разговор в салоне оживлялся медленно, постепенно и равномерно. Кто-то из англичан осведомился о здоровье жены Берка, которая недавно была очень больна. Оказалось, что госпожа Берк поправляется: морские купания чрезвычайно ей помогли. Затем Лизакевич спросил о здоровье его величества короля. Этот вопрос очень удивил забившегося в угол Штааля. Георг III не так давно сошел с ума, – как говорили, от дурной болезни; правда, он затем поправился, но были основания ожидать в близком будущем его окончательного безумия. Штааль предполагал, таким образом, что эта тема в английском обществе является совершенно запретной. К большому его удивлению, Берк беззаботно ответил, что король чувствует себя превосходно. Лица Лизакевича и всех гостей немедленно изобразили чрезвычайную радость. В свою очередь, кто-то из англичан счел долгом ответной вежливости справиться о здоровье ее величества российской императрицы. При упоминании имени Екатерины дамы целомудренно опустили заблестевшие любопытством глаза, а шестнадцатилетняя мисс Элеонора Эден, которая и без того не могла пожаловаться на бледность, от стыда залилась багровым румянцем. Лизакевич заверил гостей, что российская императрица совершенно здорова, и в доказательство сослался на Штааля, имевшего недавно счастье видеть ее величество. Молодой человек заерзал у себя в углу, на пуфе, под взорами гостей и пробормотал какую-то не совсем понятную стилистически и фонетически фразу, в которую входили: «*mais oui*», «*indeed*», «*of course*», «*trcs bien*» и «*I am sure*»<sup>99</sup>.

Лизакевич, временно руководивший разговором впредь до его окончательного оживления, немедленно выдвинул вопрос о погоде. Лица англичан оживились, ибо погода стояла прекрасная, а *fine weather* в веселой Англии является редким общенародным праздником. По вопросу о погоде высказались почти все гости. Когда же Лизакевич объявил, что к одиннадцати часам приедет мистер Питт, известие это, хотя и предвиденное, еще усилило оживление в салоне. Мисс Элеонора сделала над собой усилие, чтобы опять не зардеться румянцем от радости, и зарделась вдвое хуже. Разговор мгновенно уцепился за Питта и покатился дальше гладко, изредка ненадолго прерываясь при появлении новых лиц.

Один из гостей, пивовар с медно-красным лицом и с шестью перстнями на толстых коротких пальцах, похвалил мудрую экономическую политику Питта, который за девять лет своего правления почти удвоил вывоз британских товаров. В связи с этим заговорили об успехе военного займа в 41/2 миллиона, только что устроенного первым министром. Пивовар с похвалой отметил также то обстоятельство, что Питт обновил состав Палаты лордов, создав более полусотни новых пэров. Но эта сторона деятельности премьера не вызвала всеобщего одобрения; по крайней мере, один из присутствующих, очень древний маркиз с очень древним именем, сухо заметил, что Питт готов каждому богатому человеку пожаловать звание пэра.

– *He gives a peerage to any decent possessor of ten thousand a year*<sup>100</sup>, – иронически поглядывая на пивовара, сказал древний маркиз.

Так как среди гостей было человек пять новопожалованных питтовских пэров и сам пивовар был ближайшим кандидатом на титул, то Лизакевич поспешил переменить тему разговора и спросил Берка о новостях на бельгийском театре военных действий. Новости были хорошие: только что пришло безмерно раздутое сообщение принца Кобургского об его успехах. Но известия о чужой победе редко приводят в восторг людей, и энтузиазма новости у англичан не возбуждали.

В салон вошли два последних гостя – Талейран и Пристлей; они столкнулись у входа (оба пришли пешком), и пастор чрезвычайно обрадовался бывшему епископу: им приходилось встречаться в доме лорда Лансдоуна. Пристлей еще внизу у дверей заговорил, сильно заика-

<sup>99</sup> «В самом деле», «действительно», «конечно», «очень хорошо», «я уверен» (англ., франц.).

<sup>100</sup> Он дает титул пэра каждому приличному обладателю десяти тысяч фунтов годового дохода (англ.).

ясь, с Талейраном о соццинианском учении. Он очень любил богословские диспуты и не мог упустить случая побеседовать со знатоком, каким является бывший епископ Оттенский.

– Я остаюсь при своем мнении, – горячо сказал Пристлей, продолжая разговор, начатый шесть недель тому назад. – Ваша позиция в вопросе о первородном грехе неправильна. Я вам это сегодня докажу совершенно неоспоримо...

Он рассеянно пожал руку Воронцова и тотчас от него отвернулся.

– Кроме того, я убедился в том, что Соццини непричастен к насилию над Францем Давидом. Это все было последствие интриг пастора Мелия. Разумеется, король Стефан Баторий поступил в деле Франца Давида совершенно деспотически и незаконно. Обычный акт правительственного произвола...

Талейрану вообще было совершенно все равно, о чем ни говорить: подготовка, полученная им в юности, и громадная память позволяли ему так же легко вести теологические споры, как всякие другие: в другой обстановке он охотно поговорил бы и о Соццини, и о первородном грехе, и о действиях короля Стефана Батория. Но он не любил попадать в обществе в смешное положение и потому усиленно старался отделаться от разговорчивого богослова, которого считал вдобавок не совсем здоровым умственно, хотя и гениальных способностей, человеком.

Воронцов, с трудом удерживаясь от смеха, прошел вслед за гостями в салон; его хозяйская роль на площадке у входа кончилась; теперь можно было отдохнуть и насладиться предстоящим зрелищем. Семен Романович с особенной отчетливостью громко назвал имена вновь вошедших гостей.

Встречи с Талейраном в доме Воронцова ждало большинство англичан. Но появление Пристлея было совершенно непредвиденным и произвело неприятную сенсацию. Талейран очень спокойно, быстро и незаметно рассмотрел всех гостей и выбрал себе место рядом с шестнадцатилетней красавицей мисс Элеонорой Эден. Пристлей сел по другую сторону Талейрана, сожалея о прерванном разговоре.

Пастор Пристлей имел в Англии большую, но весьма неблагоприятную известность. Он по рождению принадлежал к пресвитерианской церкви, но должен был выйти из ее лона, так как на консисториальном экзамене заявил ко всеобщему скандалу, что не испытывает ни малейших угрызений совести в связи с первородным грехом Адама. Затем его увлекло учение теолога Армензена, и он стал горячим противником кальвиновской доктрины предопределения. Еще несколько позже из арминианцев Пристлей сделался арианцем – и тогда враги Ария, греческие епископы Александр и Афанасий, жившие в четвертом столетии, стали для него как бы личными врагами. За арианством пришло соццианство, но и к нему пастор придумал целый ряд существенных поправок. Джозеф Пристлей по натуре не мог принадлежать к вере большинства окружающих его людей. Смелость мысли стала для этого искреннего человека чем-то вроде привычного спорта, которым он неумоимо пугал современников. Из отвращения к английским политическим деятелям того времени он стал проповедовать революционные взгляды; в якобинской Франции он, вероятно, объявил бы себя контрреволюционером. По крайней доброте характера Пристлей практически не мог себе представить террора – и даже плохо верил, что якобинцы применяют террор; это казалось ему выдумкой французских эмигрантов. Отдельных террористических действий он отрицать не мог; но на расстоянии нескольких сот верст они его не так волновали; в своем присутствии он, наверное, не позволил бы раздавить комара. Обладая огромной ученостью, он писал одну за другой богословские и политические работы, которых никто не читал. В свободное же время, больше для развлечения, производил при помощи домашних приборов химические опыты, причем сделал несколько величайших открытий в истории химии: открыл кислород, азот, сероводород, аммиак, соляную кислоту. Но этим опытам он придавал сравнительно мало значения. Мысли о первородном грехе и об учении якобинцев занимали его гораздо больше. За свои революционные взгляды он получил право французского гражданства и был избран в Конвент людьми, которые не прочли

ни одной написанной им строчки. Зато в Англии на его долю выпало много гонений: он должен был эмигрировать в Америку, где и умер, забыв о своих химических работах и размышляя о предопределении и о первородном грехе.

Появление Талейрана было именно тем моментом, которого ждал Берк, чтобы начать политическую беседу. Он подтянул живот, слегка переместив его на коленях, наклонился в кресле всем туловищем вперед (в отличие от многих ораторов он умел говорить сидя) и, придав наклоном головы и плеч силу и выразительность жесту, заговорил о войне с Францией.

## 15

Берк учился дикции у знаменитого актера Гаррика, очень умело скандировал слова, искусно модулировал голос и *подавал* как следует самую обыкновенную фразу. Но оттого ли, что он был стар и у него во рту не хватало зубов, или потому, что при модуляциях старческого голоса у Берка как-то забавно шевелился жирный двойной подбородок, Штаалю стало жаль говорившего. Обращаясь преимущественно к Воронцову, но часто, по привычке опытного оратора, обводя взглядом всю аудиторию, временами останавливая взгляд на Талейране, Берк доказывал, что французские революционеры с самого начала поставили себе задачей насильственное ниспровержение монархического строя во всех странах мира и устройство международной революции. Он ссылаясь на якобинскую пропаганду в рядах английских войск и утверждал, будто французский агент Шовелен щедро поддерживал деньгами революционные кружки в Лондоне и Эдинбурге. Особенно же возмущал Берка декрет Конвента от 19 ноября 1792 года, содержащий в себе, по его мнению, прямой нескрываемый призыв к анархии, обращенный ко всем народам мира. На этом месте своего монолога Берк поднял голос на две ноты и, наклонившись в сторону Талейрана, опустив живот на правое колено, проскандировал:

– Yes, it is the formal declaration of a design to encourage disorder and revolt in all countries<sup>101</sup>.

Подав слушателям эти слова, он сделал небольшую паузу, как привык делать в соответствующих случаях на парламентской трибуне, точно ожидая возгласов «hear, hear»<sup>102</sup> и возражений с мест. Но возражений с мест не последовало, ибо никто из гостей, кроме Талейрана, не знал декрета Конвента от 19 ноября 1792 года. Талейран же весь был поглощен мысленным раздеванием мисс Элеоноры Эден. Берк привычным беззвучным движением горла прочистил голос и продолжал, сделав искусную модуляцию, естественно понизившую его тон на те же две ноты. Он коснулся основных принципов французской революции и подверг их резкой, сжатой и сильной критике, черпая аргументы из богатого запаса идей, собранного в «*Reflexions on the Revolution in France*» и «*Appeal from the New to the Old Whigs*»<sup>103</sup>. Берк требовал беспощадной войны – не с Францией, а с якобинцами. Против французского народа он, собственно, ничего не имел (тем более что главными, хотя и тайными, виновниками революции считал евреев, желающих нажиться на мировом развале).

– Мы воюем не с нацией, а с принципом, – закончил Берк мрачно. – Или якобинцы нас съедят, или мы съедим якобинцев. Революция в одной Франции – это абсурд, революция во всем мире – это гибель. Надо спасти цивилизацию!

Речь Берка не произвела должного впечатления: он очевидно был не в ударе. Медно-красный кандидат в пэры неожиданно осмелел и заметил, что как ни умно и ни глубоко все сказанное знаменитым государственным деятелем, но торговые люди не совсем понимают цель войны с Францией. Уже и так в течение одного месяца у нас было больше ста банкротств.

---

<sup>101</sup> Да, это форменное заявление о намерении поощрять беспорядок и бунт во всех странах (*англ.*).

<sup>102</sup> «Слушайте, слушайте» (*англ.*).

<sup>103</sup> «Размышления о французской революции» и «Обращение Новых вигов к Старым» (*англ.*).

– Многие в Сити спрашивают, – добавил толстяк, показывая неодобрительной интонацией, что он все-таки не согласен с мнением многих в Сити, – многие спрашивают, каковы, собственно, могут быть выгоды от этой войны...

Берк привскочил на кресле.

– Выгоды! – вскрикнул он, затрясшись подбородком и забыв промодулировать голос. – They ask what they are to get by this war! the wretches! they get their existence!..<sup>104</sup>

Древний маркиз изобразил на лице восторг – впрочем, больше из антипатии к медно-красному пивовару, который сильно оробел от гневного окрика Берка.

В эту минуту в душе и во всем физическом облике пастора Пристлея произошел взрыв. Он и прежде во время монолога Берка ерзал на стуле, отрывисто бросая вполголоса какие-то отдельные слова. Пристлей ненавидел автора «Размышлений о французской революции» (он написал ответ на эту книгу). Когда Берк заговорил об якобинском золоте, идущем на пропаганду в Лондоне и Эдинбурге, пастор нагнулся к уху Талейрана и, забрызгав его слюной, сообщил ему, что этот контрреволюционный господин давно подкуплен Питтом и получает от него ежемесячно громадные суммы. «Вот куда идут народные деньги!» – заикаясь, прошептал он возмущенно. К удивлению Пристлея, Талейран принял его сообщение весьма хладнокровно и ничем не выразил негодования. Епископ Отенский в это время мысленно сравнивал Элеонору Эден с одной из своих последних любовниц, хорошенькой парижской артисткой. Это ему напомнило те времена, когда у него водились деньги, и привело его в дурное настроение. Он с досадой отвернулся от Пристлея: революционный пастор надоел ему чрезвычайно. Затем Пристлей еще долго крепился, но последнее, нервное и грубоватое, восклицание Берка, по-видимому, совершенно пересилило терпение пастора. Он вскочил, зашагал по комнате и, резко жестикулируя, стал возражать Берку. Возражений его никто не мог понять, ибо в них политические аргументы (очень серьезные и дельные) перемешивались с химией, ересью Ария и социнианской доктриной. Кроме того, говорил Пристлей крайне путанно, нервно, невнятно и от волнения заикался еще сильнее обыкновенного. Обращался он преимущественно к Талейрану и потому отдельные фразы повторял на языке, казавшемся ему французским. Если же не находил нужного французского слова, то заменял его греческим, еврейским или халдейским, чтобы быть лучше понятым слушателями.

По лицам переглядывавшихся гостей было совершенно ясно каждому, вплоть до неопытного Штаалья, что этот бегающий по гостиной и жестикулирующий пастор говорит неприличные вещи и всем своим поведением учиняет скандал в чужом доме. Только Семен Романович был совершенно доволен и наслаждался зрелищем спора. Графу казалось, что эти красные, разъяренные старики, Берк и Пристлей, при всем различии взглядов и внешности, во многом и даже в основном чрезвычайно похожи друг на друга: похожи умом, ученостью, задорным темпераментом, гордостью, желанием удивить людей и особенно каким-то *самодовольством смелой мысли* и влюбленностью в собственную *беспощадную искренность*.

Берк презрительно улыбался в сознании своего огромного умственного и социального превосходства над невоспитанным пастором в потертом костюме. Отвечать Пристлею было, собственно, ниже его достоинства. Но когда пастор наконец оборвал скандальную речь, Берк почувствовал в устремившихся на него взорах гостей полную уверенность в том, что якобинцу будет немедленно дан надлежащий суровый урок. Он не нашел возможным разочаровать общество и кратко ответил Пристлею, уничтожая его не столько содержанием своих слов (отвечать было не на что), сколько спокойной вежливостью формы, холодным презрением тона, уверенными модуляциями голоса, чеканной речью и правильным построением фраз; чтобы оттенить контраст с путаными словами Пристлея, он придал своему ответу особенно изысканную, гладкую литературную форму. Кончая, Берн холодно выразил изумление по тому поводу,

<sup>104</sup> Они спрашивают, что им даст эта война! Жалкие люди! Эта война спасет им жизнь! (англ.)

что некоторые легкомысленные или малоосведомленные люди находят возможным сравнивать презренную и отвратительную французскую революцию со славной английской революцией 1688 года, заслуживающей любви и уважения каждого разумного человека. Эту последнюю фразу он демонстративно повторил по-французски. Немедленно все глаза устремились на Талейрана и выразили совершенно ясно: «Уж если ты и теперь ничего не скажешь, то, значит, противник тебе не под силу; да и действительно сказать тебе нечего».

Талейрану очень не хотелось говорить. За три года трибуны, народных собраний и митингов он потерял интерес ко всяким, даже самым лучшим политическим речам, знал вперед почти наизусть все, что можно сказать в защиту и в опровержение любого политического взгляда, и с одинаковым равнодушием выслушивал какие угодно речи. Но он знал, что его зовут в гости для того, чтобы он говорил, и не хотел платить неблагодарностью хозяевам. Кроме того, его раздражало самодовольство, появившееся на лице Берка после победоносного спора с Пристлеем. Талейран мысленно вздохнул, послал к черту всех англичан – и стал возражать Берку.

Он заговорил по-французски, попросив в этом извинения у гостей, которые холодно наклонили головы: в ту пору даже англичане знали французский язык, и война с Францией нигде не сопровождалась его бойкотом. Штааль, не вполне свободно говоривший по-английски, – он отлично понимал иностранцев, изъяснявшихся на этом языке, но не всегда понимал англичан, – восторженно, услышав музыкальные звуки великолепной французской речи. Ему сразу стала ясна разница между оратором и *causeur*’ом. Берк был оратор, Талейран был *causeur*<sup>105</sup>.

Бывший епископ Отенский начал с указания на то, что людям, не видавшим своими глазами революции, очень трудно справедливо о ней судить. Только поэтому он и решается противопоставить эрудиции, глубокомыслию и таланту знаменитого политического мыслителя Англии – Талейран учтиво наклонил голову в сторону Берка – свое скромное суждение очевидца, наблюдавшего события вблизи:

– Car, oui, je reïx dire que j’ai vu la revolution de pres...

– Meme de trop pres<sup>106</sup>, – не удержался хоть и смягченный немного комплиментом Берк, стреляя буквой «т» в словах «trop» и «pres». Воронцов недоволен на него оглянулся. Но на Талейрана не подействовал неучтивый намек.

– Да, я наблюдал вблизи это великое историческое представление, – спокойно продолжал бывший епископ. – Я видел также пролог: последние годы монархического строя. Мы тогда все играли в оппозицию... Ведь это случается и с англичанами, – вставил он, ласково посмотрев на Берка. – Собственно, никогда не знаешь, какая страшная революция может выйти из самой мирной, лояльной оппозиции: оппозицию от революции отделяет только один шаг... На свете не существует любимых народом правительств, – ведь и Англия не вся в восторге от политики великого государственного деятеля, каким бесспорно является мистер Питт. Поэтому почти все революции вначале бывают непопулярны. Они вновь становятся популярными двадцать пять лет после их конца. Историки, конечно, будут искать людей, которым можно было бы вменить в вину или в заслугу устройство Французской революции. Напрасный труд! Говорю как очевидец: никто не устраивал революции и никто в ней не виновен. Или если хотите, виновны все, – это одно и то же.

– Этим фатализмом *теперь* легко оправдывать кого угодно, – резко заметил Берк.

– Да, можно оправдывать и особенно можно обвинять кого угодно, – повторил Талейран. – Никто не прав. Все виноваты. Никто из людей, которых я знал (а я знал почти всех), не может считать себя совершенно невиновным. И право, было бы лучше, если б историки

<sup>105</sup> Человек, владеющий искусством разговора (*франц.*).

<sup>106</sup> Да, я могу сказать, что видел революцию близко... – Даже слишком близко (*франц.*).

не искали глубокого смысла – положительного или отрицательного, все равно – в ужасных событиях Французской революции. Никакого урока нельзя извлечь из смены стихийных, бесцельных действий, порожденных разнузданными страстями, – в первую очередь человеческим тщеславием. Французскую революцию сделало тщеславие.

И оживившись от найденного им определения, Талейран стал опровергать доводы Берка. Его собственная, совершенно искренняя, контрреволюционность была доказана небольшим вводным словом. Преодолев таким образом предубеждение слушателей (как это невольно стараются делать на трибуне даже искренние люди, чувствуя враждебность аудитории), он коснулся самого понятия революции. Бывший епископ доказывал, что великое несчастье, обрушившееся на Францию, это прежде всего – факт, и что разумная политика всегда считается с фактами. По своей обстановке, по методам, по быту Французская революция не хуже и не лучше Английской. В этом отношении все революции очень похожи друг на друга и равноценны. Но Французская революция не только собрание фактов, она еще и целая книга идей. В книге могут быть дурные и прекрасные страницы. Одинаково бессмысленно – все принимать в революции, как это делает, например, Робеспьер, и все отвергать в ней, как это делают... делают некоторые другие (он приятно улыбнулся Берку). Зачем ставить себя в смешное положение? Рыцарь печального образа принимал ветряные мельницы за рыцарей. Это, конечно, было нехорошо с его стороны. Но теперь его заблуждение разъяснено. Зачем впадать в другое заблуждение? Зачем отрицать существование самих ветряных мельниц? Зачем подставлять головы под удары крыльев или пытаться остановить эти крылья тростью? Пройдет ветер, станет и мельница.

– Да, разумеется, все сделает слепая судьба, – сказал саркастически Берк.

Он очень злобно и резко ответил Талейрану. В словах *right honourable gentleman*<sup>107</sup> он усматривал чрезвычайно опасную идею исторического фатализма. Нет ничего легче, чем все приписывать слепому ходу событий. И бесспорно, нет ничего удобнее этого для плохого политического деятеля: можно совершать какие угодно глупости и какие угодно гадости, а затем все взвалить на обстоятельства, на судьбу или на неумолимые законы истории. Настоящий государственный человек не унижается до подобных аргументов. Он борется с ходом событий или принимает за него на себя всю ответственность. Разумеется, при некоторой оригинальности мысли можно объявить кого угодно виноватым в революции. Но он, Берк, не обладая оригинальностью мысли *right honourable gentleman*, думает, что в революции виноваты революционеры. Эти господа глубокомысленно возлагают ответственность за все произошедшее на гнилой старый строй, на зарезанного короля Людовика XVI и на его тоже понемногу убиваемых министров. Жаль, что господа революционеры не склонны применять той же логики к самим себе. Если им на смену явится какое-либо жестокое, деспотическое правительство, в десять раз более жестокое и более деспотическое, чем прежнее королевское (а дело, по-видимому, идет именно к этому), то виноваты будут опять-таки не они, а будущий самодержец или, еще лучше, тот же зарезанный король. Французские революционеры проявили огромный талант в деле разрушения, – он, Берк, отдает им полную справедливость. Но создать они ничего не умеют; они лишь творят во всем мире культ разрушения, – и это, пожалуй, самая скверная и самая вредная часть их дела. Тот ореол, который может создаться вокруг Французской революции, гораздо опаснее для человечества, чем она сама: революция кончится, ореол останется. И, видит Бог, как ни отвратительны сами по себе Марат и Робеспьер, их подражатели в потомстве будут неизмеримо хуже: эти будут не только мерзавцы, но вдобавок еще и дураки. Он, Берк, считает себя обязанным всячески бороться с зарождающимся культом революции, ибо он ненавидит всякое разрушение.

---

<sup>107</sup> Достопочтенный джентльмен (англ.).

– На месте разрушенного великим землетрясением здания мы выстроим новое, которое будет, вероятно, немного лучше, – произнес Талейран, разводя руками и показывая интонацией, что этой фразой кончает надоевший гостям и, в сущности, бесполезный разговор.

– А потому слава великому землетрясению! – сказал Берк, злобно усмехаясь. – *Vive le tremblement de terre!*...

## 16

В эту минуту внизу послышался громкий, властный удар молотка во входную дверь, затем резкий, продолжительный звонок швейцара по лестнице, и в ту же минуту в гостиную мелкими шажками на цыпочках поспешно вошел Назаревский, дежуривший внизу в передней. Проглатывая от волнения слюну, он доложил графу, что приехал первый министр. Семен Романович, разговаривавший с одним из менее важных гостей, недовольно покосился на взволнованное лицо молодого человека, докончил фразу и, попросив извинения у собеседника, вышел на площадку парадной лестницы, где в начале приема встречал всех приглашенных. Для Воронцова в его доме не было первых министров, а были только равные в правах гости; он встречал главу британского правительства на том самом месте и совершенно так же, как пастора Пристля.

По лестнице, в сопровождении суесящихся людей, шагая через две ступеньки и опираясь на ходу жабо, поднимался Виллиам Питт.

– *Cher ami*<sup>108</sup>, – приветливо проговорил Воронцов, крепко пожимая руку премьера.

– *Enchante de vous voir, mon ami*<sup>109</sup>, – сказал одновременно Питт, чуть резнув слух Семена Романовича словами «*mon ami*», которые звучат фамильярнее, чем безличное «*mon cher ami*», и даже несколько покровительственно. Но Питт, хорошо для англичанина говоривший по-французски, не знал тонкостей и оттенков этого языка.

Они прошли в салон. Гости-мужчины, не исключая стариков, встали при входе тридцатипятилетнего министра, и даже некоторые из дам почувствовали желание приподняться с мест. Мисс Элеонора Эден так покраснела, что ее поведение было бы найдено неприличным, если бы все внимание приглашенных не было сосредоточено на Питте.

Штааль впился глазами в британского премьера, которого называли самым могущественным человеком на земле. Питт не был красив, но внешность его сразу останавливала внимание. Он был огромного роста даже для англичанина и держался так неприятно-прямо, что при тонкой своей фигуре казался затянутым в корсет. Штаала поразили его сверкающие глаза – таких блестящих глаз юноше никогда не приходилось видеть – и красивое сочетание преждевременно поседевших волос с тогда еще молодым и не пострадавшим от алкоголя лицом. От углов глаз Питта, от тонких ноздрей большого, неправильной формы носа и от крепко сжатых губ спускались наискось в обе стороны три параллельные линии морщин. Они придавали особенно суровое и надменное выражение его и без того суровому и надменному облику.

Питт обошел гостей, обмениваясь быстрыми короткими рукопожатиями со всеми. Семен Романович представлял ему незнакомых. Премьер, молча улыбаясь, остановился перед мисс Элеонорой Эден, – зоркий взор Воронцова прочел в улыбке Питта некоторое, вообще ему совершенно не свойственное, смущение – преувеличенно крепко пожал руку лорда Аукленда, на мгновение впился своими блестящими глазами в Талейрана и особенно улыбнулся, подходя к Берку, точно показывая улыбкой, что этого гостя никак не приходится с ним знакомить. Всех остальных находившихся в салоне людей Питт просто не заметил; он мысленно принял решение оставаться здесь не более часа: в течение этого времени рассчитывал сказать то, что

<sup>108</sup> Дорогой друг (*франц.*).

<sup>109</sup> Рад вас видеть, мой друг (*франц.*).

ему казалось полезным, и улучшить минуту для отдельного, конфиденциального разговора с графом Воронцовым.

Питт всего лишь полчаса тому назад оставил свой рабочий кабинет на Downing Street, – ему туда приносили вечерний костюм. Ровно в половине одиннадцатого он закончил дела, подписал последний десяток бумаг, отпустил вздохнувших с облегчением секретарей и быстро, энергичной походкой спустился вниз к выходу. Слуги сломя голову подали ему пальто и трость. Гиганты-полисмены вытянулись и замерли при выходе первого министра. Какие-то люди – сыщики, оберегавшие его от возможных покушений со стороны якобинцев, – куда-то рассыпались по улице, и странно одетый кучер мгновенно подал к подъезду пару огромных гнедых лошадей. Садясь в карету, Питт отдал распоряжение ехать на Harley Street, где находилась русская миссия, более долгим, кружным путем. Он любил на быстром ходу коляски обдумывать важные дела.

Первый министр Великобритании был, подобно всем первым министрам, так беспрепятственно занят в течение целого дня приемами, разговорами и чисто механическими делами, что для обдумывания бесчисленных вопросов, поступавших на его разрешение, у него совершенно не оставалось времени. Питт почти не имел возможности готовиться по-настоящему даже к самым важным парламентским речам и чаще всего, запасшись несколькими основными идеями, полагался в остальном на свою находчивость и на свое ораторское дарование, размышляя и решая вопросы на трибуне, в процессе речи. Для выработки же основных идей, от которых зависели ход британской политики и, стало быть, судьбы мира, у первого министра оставались небольшие обрывки времени – между аудиенциями, в карете, да еще в постели утром: ложась очень поздно, он вставал лишь к одиннадцати часам.

В карете Питт откинулся на спинку сиденья утомленной головой, закрыл глаза и полежал так несколько минут, – он только в одиночестве позволял своему лицу выражать усталость. Когда тело его приспособилось к быстрому ходу высокой покойной кареты, он сделал над собой небольшое усилие и сосредоточил мысли. На мгновение Питта заняли его собственные личные дела, в первую очередь денежные: первый министр был много должен, хотя жил довольно скромно и не имел дорогостоящих привычек; расстройство его дел происходило главным образом оттого, что у него не было четверти часа в день, нужной для приведения их в порядок. Так и теперь, попытавшись мысленно счесть свои доходы и долги, Питт немедленно отложил эти подсчеты до другого раза; он успокоил себя тем соображением, что при его жизни кредиторы подождут, а после его смерти Англия сочтет для себя честью заплатить *долги Питта*. Затем перевел мысли на другое неприятное личное дело, – на мисс Элеонору Эден. Здесь все оказалось сразу совершенно ясным: нужно было поделкатнее, по возможности не давая поводов для нехороших разговоров, отвязаться от красавицы девушки, которой он как-то сказал несколько больше любезностей, чем следовало. Что-то, однако, в этой истории с мисс Элеонорой было не совсем хорошо и не вполне отвечало его понятиям совершенного джентльмена. Параллельные линии морщин Питта опустились ниже, и лицо его сделалось еще жестче. Он переменял положение тела, опустив голову на холодную серебряную ручку палки; тотчас изменилось и течение его мыслей. Они перешли на Англию. Переход этот был совершенно естественный. Питт, собственно, почти никогда не отделял себя от Англии.

Начинавшаяся война поглощала в ту пору все внимание премьера. В победе для него как для англичанина не существовало сомнений; он был уверен в том, что создаваемая им огромная коалиция очень быстро сломит Францию. Но все-таки война пугала Питта. Он привык к парламентской борьбе, постиг ее в совершенстве и в ней не знал себе соперников. Война с внешним врагом требовала каких-то еще неизвестных ему приемов и нового страшного напряжения душевных сил. Он знал, что за каждую, хотя и недолговременную и не серьезную, неудачу вся ответственность будет возложена лично на него. Знал, что бесчисленные враги ненавидят его теперь сильнее, чем когда бы то ни было прежде, ибо их особенно раздражила

недавняя резкая перемена в его взглядах, – первый министр был прежде горячим сторонником мира с Францией. Когда Питта люди обвиняли в перемене взглядов, ему всегда казалось, что либо они над ним смеются, либо же не имеют ни малейшего представления о самом существовании политики: при его огромном опыте способность быстро и своевременно менять взгляды представлялась первому министру одной из наиболее важных и драгоценных черт политического искусства. Но в глазах ничего не понимающего общества этот упрек имел значительный вес. Питт понимал, что все его будущее зависит теперь почти исключительно от успехов английского оружия. Победа должна была вознести его на небывалую высоту: он знал, что только большая победоносная война создает правителям настоящий исторический престиж, – и это соображение было одной из причин войны, хотя он ни за что в нем не признался бы даже самому себе. Теперь все мысли Питта сосредоточивались на победе. Приняв на себя, ради Англии, тяжелый крест, он благоговейно обращался за укреплением к памяти своего отца: лорд Чатам был единственный в мире человек, перед которым преклонялся Питт. Воспоминание об отце и теперь в карете поддержало первого министра; он сразу перевел мысль на ближайшую очередную задачу. Она заключалась в том, чтобы привлечь русскую армию к деятельному участию в борьбе с общим врагом. Для этого Питт особенно ухаживал за Россией: для этого он и ехал на вечер графа Воронцова, забыв нанесшее чувствительный удар его самолюбию дипломатическое поражение по очаковскому вопросу, которое он потерпел совсем недавно благодаря Воронцову. В уме Питта быстро проходили аргументы в пользу интервенции, способные оказать действие на русского посланника и на русское правительство. К тому времени, когда карета остановилась у подъезда здания миссии, аргументы эти сложились очень хорошо в одно последовательное целое. И первый министр, совершенно уверенный в себе, знал, что у него готова блестящая речь – все равно, на десять минут, на час или на три часа: это зависело только от его желания и от обстановки.

В гостиной графа Воронцова Питт немедленно очутился на почетном месте у камина; около него на столике оказалась бутылка старого портвейна. Медленно, высказывая замершим благоговейно гостям соображения о том, что завтра непременно будет хорошая погода, премьер налил себе вина, взял бисквит и стал отпивать из стакана большими глотками, продолжая разговор; бутылка чрезвычайно быстро опустела; вместо нее появилась другая. Лизакевич сбоку уставился на первого министра с тем наивным сочувственным восхищением, с каким русские люди смотрят на пьющих как следует иностранцев. Кривцов подтолкнул Штааля под локоть и сказал ему, что Питт никак не уступит известному лорду Эльдону, который берется на пари выпить всякое *данное* количество портвейна – *any given quantity of port*. Англичане старались не замечать слабости великого человека. Мисс Элеоноре Эден хотелось плакать и оттого, что Питт ничего ей не сказал, и оттого, что он не заметил совершенно ее нового платья, и оттого, что он пьет этот ужасный напиток. Лорд Аукленд, наклонившись к дочери, шепнул ей на ухо, что врачи давно предписали первому министру старый портвейн для укрепления здоровья. Пристлей с радостной ненавистью глядел на Питта и желал ему напиться вдребезги пьяным. Искоса посматривал на премьера и Талейран. Епископ Отенский когда-то встречался с Питтом во Франции, но первый министр не считал нужным вспомнить об их знакомстве. Талейран очень скоро заметил влюбленные взгляды, которые бросала на Питта мисс Элеонора Эден. Это и позабавило его, и несколько раздражило, хоть он сам не мог иметь решительно никаких видов на дочь лорда Аукленда. Штааль не отрывал взора от могущественнейшего в мире человека, только что пожавшего ему руку, и старался не упустить ни одного слова и ни одного жеста Питта. Воронцов, все больше страдая головной болью, приветливо улыбаясь, соображал, сколько еще времени пробудут на рауте гости.

– Вы потеряли случай услышать чрезвычайно интересный спор, – сказал он первому министру с легкой насмешкой в голосе. – On n’a pas tous les jours l’occasion d’assister a une passe d’armes entre Monsieur Burke et Monsieur de Talleyrand<sup>110</sup>.

– Если бы я это предвидел, – отвечал тем же тоном Питт, – я бы вышел в отставку и приехал часом раньше.

– D’ailleurs, la discussion n’est pas terminee, n’est-ce pas?<sup>111</sup> – добавил Воронцов, обращаясь к Берку и Талейрану и как бы приглашая их продолжать спор. Но Берк с решительным выражением на лице отрицательно покачал головой.

– Я не могу повторить здесь того, что я *доказал* на тысяче страниц, – сухо заметил он.

– И каких страниц!.. – любезно, с усмешкой, вставил Талейран.

Пивовар спросил Питта, не слышно ли чего нового в военных делах. Воронцов опять поморщился, находя разговоры о войне с Францией неудобными в присутствии гостя-француза. Но невозмутимое выражение лица Талейрана ясно показывало, что его не может смутить ни эта тема, ни вообще какая бы то ни было другая.

Питт уклончиво ответил на вопрос пивовара. У него была совершенно сенсационная военно-политическая новость, только что привезенная ему из ставки принца Кобургского, но он и не думал делиться ею в салоне. По долголетней привычке правителя, Питт никогда ничего не сообщал без необходимости и довольно редко сообщал правду. Точно уступая желанию гостей, он коснулся общей политической темы. Бледное лицо его стало еще бледнее от выпитого вина, и дар природного оратора повелительно потребовал выхода. Питт встал как бы для того, чтобы взять бисквит из вазы, и уже больше не сел; прислонившись спиной к мрамору камина, он заговорил будто нехотя. Хотя он не все время молчал и прежде, но сразу гостям, включая и Штааля, стало ясно, что то, прежнее, было так, а *настоящее* наступило лишь теперь. Начал Питт очень негромко; разговоры в гостиной мгновенно стихли.

Первый министр говорил о великом деле свободы, на защиту которого во всей своей грозной силе встает старая Англия; лорды и простые люди одинаково исполняют свой долг и, если нужно, умрут за отечество... Говорил он – в отличие от Берка – самые простые, банальные вещи, но говорил так, что улыбки сразу стерлись, а из англичан многие побледнели. Голос Питта расширился, и сверкающие глаза приобрели какой-то почти нестерпимый блеск. К горлу мисс Элеоноры стали подступать рыдания: но если б она теперь заплакала, то большинство гостей не слишком бы этому удивилось, ибо слова, которые говорил первый министр, хватили за душу каждого англичанина.

Талейран внимательно слушал и, несмотря на привычку к красноречию, не мог не восхищаться в качестве отставного профессионала. Он видел, что Питт может так вдохновенно говорить час, два, три, ничего решительно не сказав; по мнению бывшего епископа Отенского, это свидетельствовало о совершенно исключительном ораторском таланте. Как техник и знаток, он оценил и превосходный голос, и дикцию, и чисто оперное дыхание Питта. Талейран сразу отвел британскому премьеру одно из самых первых мест в огромном числе слышанных им ораторов, – только немногим ниже Мирабо и значительно выше Барнава.

Питт оборвал речь. Нервное напряжение кончилось; гости чувствовали искреннюю потребность выражать восторг – и не знали, как его выразить в салоне. Эдмунд Берк приподнялся на кресле и проникновенно воскликнул, простирая обе руки к премьеру:

– Care saxa manu, care robora pastor!..<sup>112</sup>

Но, воскликнув, тут же пожалел, что и речь Питта, и его вдохновенное восклицание случились не в парламенте, а перед аудиторией всего из двадцати человек, без участия предста-

<sup>110</sup> Не каждый день удается присутствовать при пикировке между господином Берком и господином Талейраном (*франц.*).

<sup>111</sup> Однако спор не окончен, не правда ли? (*франц.*)

<sup>112</sup> Возьми камни рукой, возьми силой, пастырь! (*лат.*)

вителей прессы. Питт, молодой человек и исключительно практик, никаких книг не писавший, не был конкурентом для Берка, который вдобавок видел в нем теперь как бы своего ученика.

Общество стало разбиваться на группы. Кривцов и Лизакевич занимали дам. Мужчины сгруппировались вокруг Питта. Чувствуя особый подъем от блестящей речи и от второй бутылки портвейна, премьер разговаривал с Берком о политической философии, цитируя своих любимых авторов, особенно Болингброка и Мильтона. Берк одобритительно кивал головой, слушая эти цитаты и приятно сознавая неизмеримое превосходство своей учености над тощей эрудицией Питта. Оба они упорно, но тщетно старались вовлечь в беседу Воронцова, который равномерно ухаживал за гостями. Талейран слушал молча и не обнаруживал ни малейшего желания вступить в разговор. Пристлей, к большому неудовольствию посматривавшего на него издали Лизакевича, заинтересовался розовыми восковыми свечами. Он даже вынул одну свечу из канделябра и то наклонял ее, то дул на нее, но делал все эти опыты так ловко, что ни одна капля воска не пролилась на дорожную шитую скатерть столика. Внезапно пастор оторвался от этих опытов и радостно вступил в разговор. Питт сделал какую-то ошибку в цитате, и Пристлей, который знал все, немедленно, сияя, его поправил. Талейран не мог удержаться от улыбки. Первый министр нахмурился. Его лицо приняло то злое, гневное выражение, за которое враги окрестили его кличкой *the angry boy*<sup>113</sup>. Он ничего не сказал, но про себя подумал, что оба эти человека, Пристлей и Талейран, совершенно напрасно проживают в Англии, только смущая умы в такое опасное время. И немедленно занес это в память на случай, если ему удастся, как он рассчитывал, в связи с войной приостановить действие конституционных гарантий и *Habeas Corpus Act*'а. Закончив разговор с Берком, он поднялся и подошел к хозяину.

Воронцов заметил восторженный взгляд, которым смотрел на Питта Штааль, и, желая сделать ему удовольствие, вторично представил его первому министру. Он сказал при этом несколько очень лестных слов о молодом человеке. У Штаалья покраснело не только лицо, но и шея. Питт рассеянно пожал ему руку, хотя уже сделал это раньше, при входе в гостиную.

– Вот плачет все, что не видал Парижа и не может туда попасть, – сказал, улыбаясь, Воронцов.

Первый министр, очевидно думавший о другом, вдруг впился в Штаалья своими сверкающими глазами.

– А, вы хотите попасть в Париж? – спросил он медленно.

В это время одна из дам уронила веер. Воронцов поспешил к ней и, подняв веер, любезно заговорил с дамой.

– Вы хотите попасть в Париж? – повторил Питт, еще зорче впиваясь глазами в юношу.

Штааль так оробел, оставшись один на один с первым министром, что не мог ничего ответить, кроме *«oui, je vous-drais»* и *«c'est-a-dire»*<sup>114</sup>... Ему казалось, будто глаза Питта его раздевают. Так они постояли молча с полминуты.

– Как вас зовут? – вдруг коротко и властно спросил Питт. – Кто вы? Вы офицер?

Штааль ответил, как отвечал в училище, когда не знал урока. Он добавил, что имеет к Питту письмо от графа Зубова.

– Ваш посол говорит по-французски так хорошо, что его часто принимают за француза, – сказал неожиданно Питт с явным неодобрением в тоне, очевидно относившимся к этому удивительному знанию иностранного языка. – Кажется, много русских говорит по-французски не менее хорошо... У нас это большая редкость... Если вы совершенно свободно владеете французским языком, – вдруг быстро добавил он, не сводя глаз с молодого человека, – я, пожалуй, мог бы доставить вам случай побывать во Франции...

---

<sup>113</sup> Сердитый мальчик (англ.).

<sup>114</sup> «Да, я хотел бы» и «то есть» (франц.).

И вдруг, переменив тон, он равнодушно добавил:

– Приезжайте ко мне на Downing Street завтра, – он справился по книжке, – в четверть третьего. Я хочу видеть письмо графа Зубова... Я чрезвычайно уважаю графа... Вы скажете дежурному секретарю: русский офицер от графа Воронцова.

С этими словами, небрежно кивнув молодому человеку, Питт отошел к хозяину дома и, беззаботно улыбаясь, заговорил с ним, как будто нечаянно отводя его в сторону. До Штаала донеслись слова: «участие в общем деле»... «славная русская армия»... Он увидел также, что выражение лица графа Воронцова сразу переменялось: приветливая хозяйская улыбка сошла, уступив место выражению бесстрастному и даже жестокому. Они так говорили несколько минут. Никто из гостей к ним не подходил. Затем Питт улыбнулся еще беззаботней и, чуть пожав плечами, отошел, как будто с некоторой досадой. Он обменялся вполголоса несколькими замечаниями с Берком, затем вслух что-то произнес о fine weather<sup>115</sup> и простился. В душе мисс Элеоноры Эден стало темно и холодно. Воронцов, с прежней хозяйской улыбкой, проводил первого министра до площадки и там крепко пожал ему руку, сказав с чувством: «cher ami»<sup>116</sup>. Лизакевич спустился с Питтом к входной двери. Какие-то люди вновь рассыпались по улице. Через секунду стекла гостиной чуть задребезжали от ускоряющегося топота огромных лошадей.

Вскоре после ухода Питта начался общий разъезд. Он произошел чрезвычайно быстро, точно каждый боялся остаться последним. Воронцов едва успевал просить гостей посидеть еще немного и уже почти не менял своих прощальных любезностей. Пристлей поспешно одевался, желая на улице возобновить с Талейраном разговор о первородном грехе. Талейран с тревогой поглядывал на пастора, рассчитывая немедленно ускользнуть. Молодые секретари неустанно бегали по лестнице, провожая дам, и возвращались наверх. Мисс Элеонору Эден проводил до самой кареты едва ли не весь состав миссии.

– Вот, вот кто правит миром, – устало сказал по-французски Воронцов, садясь по привычке у камина и наливая себе минеральной воды. – У всех выдающихся политических деятелей есть что-то общее... Что-то очень тяжелое, дурное. Очевидно, я совсем не политический деятель... Да, вот кто правит миром. Англия идет во главе человечества. Питт, Берк руководят Англией. Они, а за ними этот маркиз, и лорд Аукленд, и больше всех тот пивовар с перстнями. Страшная сила. Она сломит французскую революцию... В сущности, Пристлей прав, он честнейший, благороднейший человек... Но что же сам он несет на смену Питтам? В области государственного строительства всем этим Пристлеям грош цена, как грош цена Робеспьерам... То же самое и у нас. Кто создал великую Россию? Народ? Да, конечно, хоть народ в России, как и везде, глуп совершенно. Но без царей он не создал бы ничего. Как странно! Исключите Петра, и вы увидите, что дари наши не блистали ни умом, ни талантами, ни добродетелью. Добродетелью не блистал, впрочем, и Петр... А что было бы с Россией без этих маленьких людей? Правда, у нас сохранилось бы в Новгороде вече. Зато в Киеве хозяйничали бы поляки, в Риге – шведы, на юге – турки и татары, в Сибири – китайцы или дикари... Хищные правительства создают великие государства, благородные – их теряют. Вот странная проблема: какова должна быть власть? Где она хороша? У нас – Зубовы, у французов – Мараты... Лучше всего в Англии, это бесспорно. Но радости и здесь мало: парламентское лицемерие, интриги, подкуп. И везде деньги, деньги... Я обо всем этом думаю дет двадцать пять и пока ничего хорошего не придумал. Думали, впрочем, об этом люди и поумнее меня... Одно ясно: истории ломать нельзя. Именно потому Англия первая страна в мире, что в ней ничего не ломают. Глубокое слово сказал Берк: «I do not like to see anything destroyed»<sup>117</sup>.

---

<sup>115</sup> Прекрасная погода (англ.).

<sup>116</sup> Дорогой друг (франц.).

<sup>117</sup> Я не люблю смотреть на разрушение чего бы то ни было (англ.).

Воронцов, видимо не ожидая ответа, задумался. Лизакевич, Штааль, Кривцов не слишком внимательно слушали его слова. Они были переполнены впечатлениями вечера. Штааль сел в кресло, *в котором только что сидел Питт*, и думал о своей все увеличивающейся близости к знаменитейшим людям мира. Хотелось ему описать вечер петербургским приятелям. Очень волновало его и предстоящее свидание с первым министром. Он старательно припоминал и обдумывал каждое сказанное слово: был ясно, что Питт хотел дать ему какое-то важное, таинственное и опасное поручение в Париж. При этой мысли у Штааля радостно и тревожно замирало сердце. Он хотел в первую минуту поделиться своими чувствами с Воронцовым, но потом решил, что лучше пока никому об этом не говорить.

Кривцов и другой секретарь вполголоса говорили об Элеоноре Эден и давали непочтительное объяснение нечувствительности Питта к ее божественной красоте.

– Она лучше, чем госпожа Сиддонс, – сказал восторженно Кривцов. Завязался не слишком горячий, впрочем, спор. Лизакевич, вспоминая сотни приемов и раутов, на которых ему пришлось быть в жизни, угрюмо слушал молодых людей.

## 17

Сенсационное известие, привезенное Питту из ставки принца Кобургского, заключалось в том, что главнокомандующий Северной французской армией, победитель при Жемаппе, знаменитый генерал Дюмурье склонен войти в тайные переговоры с союзной коалицией. Республиканский генерал, имевший репутацию пламенного революционера, бывший, как говорили, в дружбе с Робеспьером и Дантоном, сообщил – правда, через эмиссаров и очень осторожно – австрийскому главнокомандующему принцу Фридриху Кобургскому, что, желая положить конец несчастьям родины и владычеству проходимцев, он намерен двинуть преданные ему войска на Париж, разогнать Конвент, перевешать стоящую у власти шайку злодеев и провозгласить малолетнего Людовика XVII французским королем – на началах конституции 1791 года. Ввиду этого генерал требовал от союзников прекращения военных действий и намекал на необходимость денежной субсидии, предназначенной для подкупа парижского населения. Обрадованный принц Кобургский спешно оповестил о сенсационном предложении императора, прусского короля и британского премьера.

Питт не доверял Дюмурье, как не доверял принцу Кобургскому и союзным правительствам. Он вообще в политике никому не доверял и по принципу подозревал обман во всяком политическом предложении, каково бы оно ни было и от кого бы оно ни исходило. Без сплошного обмана Питт даже не мог представить себе политику. Этому научил его долгий государственный опыт. Получив сообщение австрийского главнокомандующего, он немедленно сделал ряд поправок на обман, возможный со стороны принца Кобургского, принял в соображение замешанные, вероятно, в деле личные интересы – и затем очень быстро, холодно и пронизательно обсудил предложение с точки зрения интересов Англии. Вопрос представлялся сложным. Переход генерала Дюмурье на сторону союзников мог положить конец французской революции – и само по себе это было, разумеется, хорошо: Питт, побаивавшийся якобинской заразы, вполне искренне желал торжества во всем мире британских идей разумного порядка и разумной свободы. Но, с другой стороны, конец революции означал, собственно, и конец войны, причем Франция выходила из нее не ослабленной, а значительно усилившейся. Это совершенно не соответствовало намерениям Питта. Он долго хотел воевать, но теперь, когда война началась, прекратить ее до победы казалось ему невозможным. Теоретик Берк мог видеть главный смысл борьбы Франции с Англией в столкновении двух начал: республики и монархии, революции и порядка. Питт ценил ученость, глубокомыслие и литературный талант Берка и даже уважал его, поскольку он мог вообще – после восьми лет власти – уважать людей, в частности тех, кому он раздавал деньги и награды (по-настоящему Питт уважал только себя

и своего отца). Но первый министр считал Берка чисто кабинетным человеком. Сам он, британский премьер и сын британского премьера, подходил к делу практически: за столкновением двух идей он отнюдь не забывал борьбы двух могущественнейших держав мира. Питт боялся Франции. Французская армия шла от победы к победе, несмотря на совершенно безумную, с его точки зрения, систему правления и администрации. Следовало опасаться, что по установлении порядка внутри страны могущество Франции примет прямо грозный для Англии характер. Поэтому британский премьер не слишком желал скорого свержения якобинцев. Таким образом, его политика представлялась не совсем определенной, а неискушенным людям со стороны могла даже казаться противоречивой. Только сам Питт ясно видел, вернее, чувствовал стройную логику всех своих противоречий.

Кроме того, самый важный вопрос заключался в том, может ли генерал Дюмурье всецело рассчитывать на свою армию. Одно стало совершенно очевидным Питту с первой минуты: необходимость окружить сетью агентов ставку французского главнокомандующего.

Первый министр очень любил систему тайной агентуры, тратил на нее большие деньги, лично ею руководил, входя в самые мелкие подробности организации, и имел везде множество секретных информаторов: у него на службе состояли люди разного положения, разных национальностей, мужчины и женщины, наемники и добровольцы, якобинцы и эмигранты, иностранные принцы и рядовые шпионы. Питт при этом рассчитывал, что из десяти нанимаемых им людей один может оказаться действительно полезным. Разумеется, он никому в отдельности не доверял, а доверял общей своей системе, контролируя донесения одних по донесениям других и посылая особых агентов для наблюдения за обыкновенными агентами. Были у него, конечно, свои люди и в Бельгии на театре военных действий. Но теперь, по получении известия об измене Дюмурье, он счел полезным увеличить их число. Нужно было использовать момент, чтобы ввести своих людей также в республиканскую армию. Для этой цели годились рядовые сотрудники, хорошо владевшие французским языком, Питт нашел подходящим для нее и русского, которого он встретил на вечере у графа Воронцова. Молодой человек, столь желавший попасть во Францию, с первого взгляда показался ему порядочным авантюристом. Как все искушенные властью государственные деятели, Питт считал себя безошибочным физиономистом, да и действительно обладал способностью хорошо распознавать людей.

В день, указанный для приема Штаалю, в записной книжке первого министра значилось около десяти аудиенций, но из них важные только две: одна – с знаменитым адмиралом по серьезному делу, касающемуся войны, другая – с видным членом Палаты общин, предлагавшим интересную парламентскую комбинацию, которая могла еще ослабить группу Фокса и даже несколько скомпрометировать этого политического деятеля. Остальные посетители являлись с просьбами или просто были люди, желающие без особого дела поговорить с премьером и имеющие на то право по своему общественному положению. Новый министр ловко и незаметно выпросил у старого адмирала те сведения, которые ему были нужны для парламента и кабинетских распоряжений. Питт учился почти исключительно из разговоров и выпрашивал своих собеседников всегда столь искусно, что им казалось, будто он их экзаменует, зная вопрос много лучше их самих; так, Адам Смит полушутя, полусерьезно говорил, что его собственное экономическое учение стало ему вполне ясным лишь после разговора о нем с Питтом; так и на этот раз старый адмирал, выходя из кабинета на Downing Street, умиленно благодарил Бога за то, что Он послал Англии премьера, столь тонко понимающего и столь хорошо осведомленного в делах морской войны. Затем Питт принял члена Палаты общин и дал ему мастерское наставление для интриги против Фокса, оставшись сам от нее как будто совершенно в стороне. Вежливо отказал просителю, просьба которого не отвечала интересам Англии и который был ему не нужен. Удовлетворил двух других просителей: из них один был ему нужен, а другой имел вполне основательную просьбу. Поговорил с каждым из остальных, пришедших без настоящего дела людей ровно столько, сколько было нужно в зависимости от их обществен-

ного положения. Все это Питт проделывал, так искусно и незаметно распределяя разговор во времени, что каждого посетителя он принимал в указанный заранее пас с опозданием разве в несколько минут. Штааля он принял восьмым. Назначенная молодому человеку аудиенция принадлежала к разряду неважных. То, что этот молодой человек в связи с ней сильно рисковал головой, разумеется, не имело ни малейшего значения для Питта. Он давал Штаалю поручение в интересах Англии; а в интересах Англии Питт всегда готов был рисковать собственной своею жизнью, – не то что жизнью русского мальчишки.

Первый министр быстро просмотрел письмо графа Зубова, которое Штааль ему подал, волнуясь больше, чем в Эрмитаже, в кабинете на Downing Street, казавшемся ему политическим центром вселенной. Питт и не читал письма до конца (он в одну минуту высасывал все важное из любой самой длинной бумаги), но понял сразу (хотя это и не было сказано определенно), что неофициальному главе Российской империи будет приятно возможно более продолжительное пребывание за границей господина Штааля. Питт бросил беглый взгляд на красивое лицо молодого русского и, хорошо зная нравы петербургского двора, немедленно догадался, в чем дело. Первый министр брезгливо искривил верхнюю губу – хороша политика в этой варварской стране! – и подумал, что молодой человек может ему пригодиться и впоследствии: в Петербурге Англии тоже нужны агенты, особенно агенты с такими возможностями. «Пожалуй, станет моим коллегой», – брезгливо усмехаясь, подумал первый министр. Наклонные линии морщин на его лице совершенно искривились и выразили отвращение, смешанное с чем-то еще. Кратко и сухо он предложил Штаалю предпринять поездку *за границу* в интересах России и Англии: цели обеих держав теперь совершенно совпадают. Разумеется, Питт не обмолвился ни одним словом о Дюмурье: он только пояснил, что дело идет об осведомительной поездке в ставку принца Кобургского.

– Оттуда, если вы желаете, – сказал он медленно, – вам будет дана возможность проехать во Францию... Донесения русского офицера, вполне владеющего французским языком, о настроениях населения и армии (Питт не сказал, какого населения и какой армии) нам могут быть очень полезны. Я буду, разумеется, посылать копии в Петербург.

Штааль еще утром решил, что непременно примет всякое поручение Питта, лишь бы оно было совместимо со званием и достоинством русского дипломата. Предложение, которое ему сделал первый министр, оказалось еще более соблазнительным, чем он мог надеяться. Его посылали в армию, на театр военных действий. Он мог увидеть войну, принять в ней участие, отличиться. Молодой человек вспыхнул от радости; но тут же все-таки подумал, что было бы гораздо лучше получить это поручение от своего правительства, а не от чужого (хотя в ту пору открытая служба иностранным правительствам составляла очень распространенное явление).

Быстро соображая все это, Штааль ответил первому министру несколько запутанно. Не знал к тому же, как надо называть Питта. «Милорд»? – так ведь он не лорд... «Votre Haute Excellence», кажется, по-французски не говорят. «Votre Excellence»<sup>118</sup> – маловато, он еще обидится... Никак не надо называть... Что ж, соглашаться? Или спросить Семена Романовича? Не пустит...

Питт как будто угадал сомнения молодого человека.

– Повторяю, – сказал он нетерпеливо, – интересы России и Англии в настоящее время совершенно совпадают. Я вполне уверен, что русское правительство будет удовлетворено, если вы примете и хорошо выполните возлагаемое на вас поручение. В этом меня убеждает и письмо графа Зубова, – значительно подчеркнул он (письмо было вручено ему запечатанным). – Разумеется, я немедленно извещу графа о нашей поездке... Но графу Воронцову, – небрежно добавил Питт, – было бы бесполезно сообщать о предмете нашего разговора. Граф, кажется, находит вас слишком молодым для ответственных поручений.

<sup>118</sup> «Ваше высокопревосходительство»... «Ваше превосходительство» (франц.).

– Я считаю себя вправе принять поручение, – сказал Штааль. – Мне к тому же предписано посылать в Петербург донесения о состоянии умов французских эмигрантов («кажется, не следовало сообщать это Питту, – вспомнил он, – ну, да все равно»). Между тем в ставке принца Кобургского, без сомнения, много эмигрантов.

– Очень рад, что вы согласны, – холодно заметил Питт, вставая, и сверху вниз, с высоты своего огромного роста, еще раз осмотрел молодого человека. – Может быть, наша связь продлится и тогда, когда вы вернетесь в Россию... – Он помолчал и добавил, опять брезгливо сгибая верхнюю губу, а с ней тройную линию морщин: – Завтра вместе с инструкцией вам будут доставлены деньги на поездку. Расходовать их нужно, разумеется, бережливо.

Штааль вспыхнул еще больше и отказался от денег. Как русский дипломат, он не может их принять, да и не нуждается. Он постарается выполнить поручение и оправдать оказанное ему доверие – в интересах России.

Питт посмотрел на молодого человека несколько более благосклонно. Обыкновенно, когда люди отказывались от денег, которые он им предлагал, первый министр заключал, что предложил недостаточную сумму и что с него хотят взять больше. Но так как на этот раз отказ последовал прежде, чем он успел назвать цифру, то Питт сразу мысленно перечислил Штааля из разряда авантюристов продажных в разряд бескорыстных искателей приключений. Это также была очень полезная для него, то есть для Англии, порода людей. Питт пожал руку молодому человеку, велел оставить у секретаря адрес и пожелал доброго пути.

На следующее утро в гостиницу, где жил Штааль, явился секретарь Питта, молодой, прекрасно одетый и изумительно выбритый чиновник, с лица которого не сходило особенное сияние, явно происходившее от сознания близости к первому государственному человеку мира. Он и смотрел на собеседников, как Питт, сверху вниз, хотя ростом был гораздо меньше премьера. Секретарь привез Штаалю инструкцию, письмо в ставку принца Кобургского и запасной паспорт на имя американского гражданина Траси. Фамилия эта, по словам секретаря, могла свидетельствовать о французском или канадском происхождении и объяснять звание французского языка, недостаточное для коренного француза и слишком хорошее для американца. Штаалю показалось, что это придумано очень тонко. Несколько взволнованный подложным паспортом с красиво расчеркнутыми подписями и огромной восковой печатью, он прочел инструкцию. Она была составлена по-английски, без подписи, и точно, и неясно. Главная задача, возлагавшаяся на Штааля, состояла в том, чтобы выяснять настроение населения и армии в местах, где ему придется быть. Но места эти в инструкции не были указаны даже приблизительно. Секретарь на словах сообщил, каким способом должны пока доставляться донесения, и дал молодому человеку несколько полезных практических советов.

В тот же день вечером Штааль закончил свой первый отчет о настроениях французской эмиграции в Лондоне, используя все то, что ему сообщил Воронцов и что он понял из разговора Берка с Талейраном. Он запечатал конверт своей печатью и передал его в миссию для пересылки в Петербург – вализой. Затем Штааль простился с графом Воронцовым. Он объяснил, что, согласно данному ему в Петербурге поручению, хочет съездить в Бельгию и выяснить настроение французских эмигрантов в ставке. Семен Романович прекрасно видел, что Штааль чего-то не договаривает. На лице молодого человека достаточно ясно читалась таинственность. Паспорта нельзя было получить в Лондоне без посредства Downing Street, и Воронцов смутно подозревал, что дело не обошлось без Питта. Но Штааль не был формально подчинен русскому посланнику, содержания письма Зубова граф не знал и вообще мало понимал в заграничной миссии Штааля. Он видел только, что понравившийся ему сначала молодой человек, недурно одаренный от природы, хотя и не очень умный, имеет, к сожалению, богатые задатки авантюриста. «Un chevalier d'aventures, pourvu qu'il ne devienne un chevalier d'industrie»<sup>119</sup>, – подумал

---

<sup>119</sup> Это авантюрист, лишь бы только он не стал проходимцем (франц.).

граф и очень холодно простился со Штаалем, ничего не сказав в ответ на его обещание скоро вернуться в Лондон.

## 18

В приморском городке, куда приставали приходящие из Англии корабли, британский агент сообщил Штаалю подробности об успехах союзного оружия. Сражение при Неервиндене закончилось 19 марта полной победой принца Кобургского. Двумя днями позже был занят Лувен, и с минуты на минуту ожидалось очищение французами Брюсселя. Местонахождение штаба имперского главнокомандующего в день приезда Штааля не было точно известно агенту. Он советовал переждать день-другой, а затем направиться в Брюссель, в котором, несомненно, должна была скоро обосноваться ставка принца.

Штааль на это не согласился. Молодой человек вошел во вкус войны после тревожного морского перехода. Опасаясь французских катеров, они шли ночью с потушенными огнями и никто не раздевался на шхуне. Несмотря на холод, Штааль провел ночь на верхней палубе. Завернувшись в доху, он то дремал на сундуке; то, проснувшись от холодного ветра, забравшегося в рукава, под воротник и за сапоги, быстро ходил взад и вперед по квартердеку, изучая морское дело и стараясь запомнить терминологию: реи, марсы, шпангоуты, гафеля; то, прислонившись к борту, вглядывался в темную ночь. Раз ему даже показалось, будто к ним с правой стороны – или, как показывал его карманный компас, с юго-запада – подходил большой неприятельский *фрегат*. Штаалю представился *абордаж*, при котором он наповал застреливал французского капитана. Он хотел обратить на врага внимание караульного, висевшего в бочке на *фокмачте*, но караульный висел высоко, надо было бы кричать во все горло; Штааль решил немного переждать, и фрегат, по-видимому, прошел мимо. Молодой человек скоро снова заснул на сундуке, хлебнув предварительно, чтобы согреться, рому из висевшей у него на поясе *фляги*. Его разбудили голоса и беготня на палубе: было светло, и они подходили к берегу. К судну уже подъезжал на лодке лощман; матросы на мачтах убирали косые паруса.

Наняв за порядочные деньги коляску, Штааль велел закладывать, наскоро стоя позавтракал перед буфетом постоянного двора (можно было позавтракать и сидя, ибо лошадей закладывали долго) и выехал по направлению к Брюсселю. В пути, по мере удаления от морского берега, его все сильнее охватывала непривычная атмосфера войны. Была ростепель, и коляска, несмотря на «начай», которые Штааль то и дело сулил кучеру, подвигалась довольно медленно. На дороге стояли огромные лужи, и лошади вступали в них почти по колена, захлестывая грязью фартук кренящейся коляски, шинель, лицо и фуражку Штааля. Порою коляска останавливалась совершенно: вперед шли длинные обозы под конвоем солдат в незнакомых мундирах, и местами нужно было ждать расширения дороги, чтобы их объехать. Навстречу часто попадались скачущие галопом верховые, забрызганные грязью так, что нельзя было разглядеть их форму, и медленно движущиеся закрытые фуры с ранеными. Раз встретилась богато запряженная коляска, при виде которой кучер испуганно снял картуз и перекрестился. На сидении коляски, упираясь в переднюю скамью, лежал наискось перевитый венками узкий гроб. Его поддерживали с обеих сторон руками и коленями, оживленно разговаривая через гроб между собой, два молодых офицера. Очевидно, увозили в тыл тело какого-то важного лица. Фронт продвигался вперед медленнее, чем ехал Штааль, и приближение к нему сказывалось все явственнее. Но канонады, которой ждал молодой человек, все еще не было слышно. Носились неопределенные слухи о каком-то перемирии с французами.

Верстах в двадцати от Брюсселя по Антверпенской дороге находилась большая застава. Офицер-австриец, остервеневший от схваченного насморка, свирепым голосом потребовал бумаги Штааля. Увидев пропуск в ставку, он, впрочем, стал любезнее и сообщил, что француз-

ская армия проходит, не останавливаясь, через город. Завтра, 25 марта, в него войдут имперские войска. Пока дальше ехать было невозможно. Штааль провел ночь в крестьянской избе.

На следующий день, часов в шесть утра, через заставу двинулись вперед кавалерийские части, и по большой дороге, идущей от Малина, началось медленное движение экипажей, войск и обозов. Коляска Штааля влилась в общий поток и часам к десяти остановилась у ворот гостиницы, на одной из старых узких улиц, впадающих в Grand' Place. Накануне в этой гостинице квартировали французские офицеры, и кое-где по стенам хозяин еще не прибрал трехцветных флажков. Штааль легко получил комнату, так как приехал в числе первых, не имел никакой реквизиционной квитанции и благоразумно обещал платить за все золотой монетой. Но когда он, смыв с себя грязь и переодевшись, спустился снова вниз, гостиница была совершенно переполнена: опытный хозяин с убитым видом отвечал въезжавшим во двор новым гостям: «Desole! C'est bonde»<sup>120</sup>, а тем, кто предъявлял реквизиционные квитанции, указывал адреса своих конкурентов.

Штааль вошел в столовую и увидел пышное зрелище. Все столы большой комнаты были заняты нарядными имперскими офицерами в красивых, богатых, хоть и несколько измятых мундирах. Слышалась почти исключительно французская речь в немецком, венгерском, польском, кроатском произношении. Чувствовалось праздничное оживленное настроение штабов только что одержавшей победу армии. Летавший метрдотель отыскал для Штааля место у небольшого столика, за который как раз садился элегантный офицер, безусый мальчик с румяным веселым лицом. Штааль слегка поклонился. Офицер немедленно вновь поднялся с места и сообщил свою фамилию: лейтенант драгунов Латура, Дитерихс фон Альтенштейн. Штааль тоже назвал себя.

Им подали меню, на котором *potage Conde* и *poularde Montmorency*<sup>121</sup> заменили вечерашние  *soupe a la sans-culotte* и *poule a la Brutus*<sup>122</sup>. Чтобы оказать почтение гостям, хозяин на сладкое заказал даже повару *Zwetschkenknodel*<sup>123</sup>, что за всеми столами вызвало действительно шумный восторг. При обсуждении меню Штааль и его сосед разговорились. Лейтенант оказался чрезвычайно милым и общительным молодым человеком, проникнутым той особой любовью к иностранцам, которая во всем мире свойственна, кажется, одним лишь венцам. Он назвал Штаалю имена двух завтракавших в зале генералов, указал ему мундиры и знаки отличия имперских войск; сообщил также, что ближайшим образом участвовал в сражении при Неервиндене, которое, по его словам, являлось одной из величайших побед в истории мира. Самым замечательным эпизодом сражения была атака, произведенная полками имперской кавалерии, под командой генерала Бороса, на французские позиции между Обервинденном и Рокуром. Гусары Бланкенштейна, кирасиры Цешвитца и особенно они, драгуны Латура, покрыли себя в этот день бессмертной славой. Лейтенант Дитерихс фон Альтенштейн лично участвовал в атаке, причем у него в двух местах была прострелена пулями шляпа, а от удара копьем в грудь его чудом спас большой серебряный портсигар, подаренный ему белокурым *Schatz'em*<sup>124</sup> в Вене; лейтенант хотел даже показать Штаалю погнувшийся портсигар, но тот как нарочно остался наверху в номере. Французы также недурно дрались, – особенно белые (линейные войска), а синие (волонтеры) куда похуже. В центре, говорят, сам Дюмурье водил пехоту в атаку. Вообще французы хороший народ, и ужасно жаль, что они затеяли эту глупую революцию. Впрочем, для него, Дитерихса фон Альтенштейна, не существует национальных предрассудков. Он любит и уважает все нации, – за исключением, разумеется, чехов, которых

<sup>120</sup> «Очень сожалею! Переполнено» (франц.).

<sup>121</sup> Суп Конде и пулярка Монморанси (франц.).

<sup>122</sup> Бульон а la санкюлот и курица а la Брут (франц.).

<sup>123</sup> Сливовые клецки (нем.).

<sup>124</sup> Сокровище (нем.).

терпеть не может, потому что они действительно ужасно противны, все эти господа Поспешиль и Кшиванек (лейтенант совершенно уничтожающе, каким-то тоненьким фальцетом, нараспев произнес, растягивая по слогам, эти чешские имена). Русских Дитерихс также любил и признавал военное дарование Суворова, который в Турции оказал принцу Кобургскому очень серьезные услуги. Если б Суворов обладал теоретическими познаниями, из него мог бы выйти русский Даун или де Ласси. Принц Кобургский тоже прекрасный полководец, но Штаалю по знакомству можно сообщить, что в действительности всем в их армии руководит генерал-квартирмейстер полковник Макк. Называя это имя, Дитерихс умиленно возвел глаза к потолку: полковник Макк, фактический главнокомандующий имперской армией, автор плана бельгийской кампании, руководитель сражений при Неервиндене и Лувене, был, по словам лейтенанта и по общему мнению авторитетов того времени, самым блестящим военным гением века<sup>125</sup>.

– Он душа нашей армии. Без него в ставке не делается ничего, – сказал Дитерихс, незаметно накладывая себе на тарелку третью порцию Zwetschkenknodel.

– Тогда, значит, и я к нему попаду, – заметил радостно Штааль. – У меня поручение в ваш главный штаб.

– Непременно попадете к Макку, – подтвердил лейтенант. – Впрочем, теперь скоро конец войне.

– Почему? – изумился Штааль. Лейтенант посмотрел на него и многозначительно поднял брови.

– Дюмуре, – медленно произнес он, одновременно наслаждаясь Zwetschkenknodel'ями и производимым эффектом.

В ответ на недоумевающее выражение лица Штаалья Дитерихс с легкой улыбкой, относившейся к неосведомленности собеседника, сообщил, что генерал Дюмуре вступил в переговоры со ставкой принца Кобургского. Он предполагает двинуться на Париж с тем, чтобы восстановить монархию. Обо всем существенном уже договорились. Сегодня в главной квартире французов в Ате будет заключено окончательное соглашение.

– Вы не знали? Теперь это уже не секрет, и я потому вам сообщаю, – сказал, слегка улыбаясь, драгун (он сам услышал об измене Дюмуре часа два тому назад).

Штааль был совершенно озадачен. Конец войны!.. Знаменитый революционный генерал хочет восстановить монархию!.. Молодой человек еще не мог сообразить, как все это должно отразиться на его миссии; но что-то в сообщении Дитерихса было ему неприятно.

– Позвольте, это странно, – сказал он недовольным голосом. – Я три дня тому назад виделся с Питтом (вот тебе за «вы не знали?»), и он мне... и он еще ничего не знал.

Драгун опять улыбнулся.

– Однако *если это так, как вы говорите*, то мы, вероятно, через две недели будем в Париже?

– Даже наверное, – категорически подтвердил драгун. – Так думают в нашем штабе, а, вы понимаете, Макк недурно разбирается в делах. Приглашаю вас в Пале-Рояль на бутылку шампанского в тот день, когда Дюмуре – он будет, говорят, коннетаблем маленького короля – повесит Марата и Робеспьера. Надеюсь, что господа якобинцы еще не выпили всего вина прекрасной Франции... Ну, вы меня извините, я должен вас покинуть, я ведь приехал по делам нашего полка. Очень рад был познакомиться и надеюсь, наше знакомство продлится, – вы не уезжаете пока из этой гостиницы? Хорошо было бы вечером погулять по городу, а? Вообразите, я уже больше двух недель живу, как совершеннейший монах. Вы не верите? Что делать, поход... Брюссель, конечно, не Вена и не Париж, но, говорят, здесь есть хорошенькие женщины... Очень был рад...

<sup>125</sup> Тот самый, который в 1805 году сдался в Ульме Наполеону со всей своей армией. – Автор.

Штааль не без сожаления расстался с говорливым венцем. Расплатившись за обед, он вышел на улицу. На Grande Place, поразившей его глаз непривычной позолотой домов, стояла большая толпа. Посредине площади дымился, плохо разгораясь на сыром воздухе, большой костер. Это народ, которому смертельно надоели французы, комиссары и революция, с криками «Vive l'Empereur!»<sup>126</sup> жег дерево свободы. Старый сторож площади руководил церемонией, давал указания и подкладывал сухого хвороста из хранившегося у него в сторожке запаса: старик имел привычку к таким делам, ибо на Grande Place постоянно что-либо жгли – в последнее время больше скипетры и изображения тиранов, а во времена молодости сторожа, случалось, и живых людей, что было гораздо интереснее (прежде всего было интереснее).

Штааль разыскал главную квартиру и справился о нужных ему лицах. Но его попросили прийти на следующий день, так как штабы еще не разместились. Макк не был в городе. Затем Штааль побродил по Брюсселю, посмотрел на думу, на Manneken Pis, на Porte de Hal, на другие достопримечательности и почувствовал, что ему крайне скучно и тоскливо в этой чужой толпе. Он зашел в кофейню, спросил рюмку ликера и велел подать газеты (давно ничего не читал). Лакей-фламандец с ошалевшим лицом дико на него посмотрел. Этого лакея накануне звали «citoуен», говорили ему «ты» – по-граждански, – «начаев» не давали, а за слово «monsieur» не так давно пригрозили предать его суду революционного трибунала. Теперь он был «garçon» или «Kellner», говорили ему имперские офицеры в третьем лице «Ег» (чего он уже совсем не понимал, хоть по-немецки знал лучше, чем по-французски), публика оставляла на чай, но за слова «Merci, citoуен»<sup>127</sup>, сказанные им по приобретенной в последнее время привычке, какой-то кавалерийский офицер утром вытянул его хлыстом. Ошалевший фламандец теперь старался вовсе не говорить с публикой. Он принес Штаалу рюмку, бутылку и целую кучу газет. Здесь были «La chronique de Paris», «Le Moniteur», «La Gazette de France» и «La Batave»<sup>128</sup>. Штааль никогда не видел революционной прессы и жадно принялся было за нее, но к нему поспешно подошел хозяин и вполголоса, с умоляющим видом, попросил отдать газеты. Публика действительно начинала как будто коситься на молодого человека. Хозяин, отобрав газеты, немедленно сжег их в камине, громко повторяя: «Oh, les sales feuilles!..»<sup>129</sup> Штааль почувствовал себя неловко и вышел из кофейни.

По дороге домой он обдумывал свое положение. Окончание войны никак не освобождало его от принятого поручения. Конечно, Питт поступил с ним некорректно, не сообщив ему об измене Дюмуре: если британский премьер хотел, чтобы русский дипломат, рискуя головой, снабжал его важными сведениями, то и сам он должен был с ним делиться, – ну, не всем, так хоть самым главным, – а не ставить его, как сегодня, в нелепое положение. Но некорректные действия Питта не могли помешать ему, Штаалу, выполнить свой долг до конца. Долг же его заключался в том, чтобы попасть в Париж раньше имперских войск. Да, дело шло именно об этом: только в Париже он мог оказать союзникам настоящие услуги. Настал, очевидно, случай использовать паспорт американского гражданина Траси. Штаалья неудержимо манила революционная столица. Опасность предприятия только усиливала соблазн. «A vaincre sans peril, on triomphe sans gloire»<sup>130</sup>, – повторял Штааль вслух, не совсем, впрочем, ясно себе представляя смысл понятия «vaincre» в применении к его делу. Не пройдет месяца, союзники войдут в Париж. Оставалось только выяснить, как перейти через линию фронта. В этом ему должны были завтра помочь в имперском штабе.

<sup>126</sup> «Да здравствует император!» (франц.)

<sup>127</sup> «Гражданин»... «господин»... «человек»... «кельнер»... «он»... «спасибо, гражданин» (франц., нем.).

<sup>128</sup> Названия газет: «Парижская хроника», «Наставник», «Французская газета» и «Батавия» (латинское название Голландии).

<sup>129</sup> «Ох, мерзкие листки!..» (франц.)

<sup>130</sup> Победа без опасности – триумф без славы (франц.).

Он очутился на Parvis Sainte-Gudule<sup>131</sup>. Кучки австрийских офицеров осматривали надругательства, произведенные недавно революционерами в старой церкви. Какая-то старушка, набожно крестясь, рассказывала, как нечестивые французы, поднявшие руку на драгоценности алтаря, были тут же на месте испепелены гневным взором Богородицы: так и попадали мертвые, рядом, один вслед за другим. Под лестницей, ведущей на перрон собора, били какого-то застрявшего в городе француза-комиссара, который, впрочем, клятвенно уверял, будто он не француз и не комиссар.

## 19

Разведочное отделение имперской армии временно занимало в одном из отдаленных кварталов Брюсселя красивый особняк в стиле начала восемнадцатого века, расположенный между маленьким двором и огромным тенистым садом английского образца, придуманного Кентом в противовес французским садам Ленотра. Особняк был почти пуст: часть служб полицейской разведки, работавшая на передовых позициях, уже прошла с авангардом армии через Брюссель; другой отдел, занятый розыском в тылу, еще работал в Лувене. В особняке же остановился с небольшим числом ближайших сотрудников главный руководитель разведочной службы, который обыкновенно передвигался вместе с штабом главнокомандующего войсками.

Штааль подъехал к особняку в довольно необычное время, часов около пяти дня. Он все утро разъезжал по разным местам; из одного штаба его посылали в другой: в главной квартире был, как водится на новой стоянке, чрезвычайный беспорядок. Отыскав наконец британского военного агента, Штааль вручил ему запечатанное письмо с Downing Street и добавил от себя, что желает как можно скорее отправиться в Париж. Агент, немолодой генерал, носивший свой красный мундир и лосины с неподражаемой изящной простотой, свойственной английским офицерам, очень внимательно прочел представленное ему письмо.

– У вас паспорт на имя американского гражданина Джонсона? – небрежно спросил он молодого человека.

– Нет, на имя американского гражданина Траси, – ответил с удивлением Штааль.

Генерал кивнул головой. Штааль догадался, что это была небольшая поверочная хитрость.

– Бумаги иногда теряются, – пояснил генерал. – Надо быть очень осторожным. Между тем приметы ваши изложены в письме недостаточно ясно...

«Так в письме были приметы? – спросил себя Штааль с недоумением. – Кто же и когда мог их записать?»

– Переход во Францию теперь не может представлять больших трудностей, – продолжал военный агент. – Как вы знаете, заключено перемирие; мы дойдем до самой французской границы, и через нее в обоих направлениях будет по разным надобностям переходить довольно много народа. Вам необходимо получить пропуск от имперского разведочного отделения. Я вам дам письмо. Там вам укажут, как перейти фронт.

Военный агент написал несколько строк и запечатал своей печатью, не прочитав записки Штаалю.

– Само собой разумеется, – сказал он, – вы не должны сообщать этим господам в разведке, для чего вы едете во Францию. Они, конечно, наши друзья... Но я долго служил на Востоке, а восточная мудрость говорит: «Никогда не сообщай твоим друзьям того, что не должны знать твои враги». Вообще мой совет: возможно меньше разговаривайте там, куда я вас посылаю. Помните, что вы идете на очень опасное дело.

<sup>131</sup> Паперть церкви святой Гудулы (франц.).

В выражении лица и в тоне англичанина ясно сквозило презрение военного человека к полиции. Штааль чувствовал, что ему самому генерал отводит какое-то неопределенное, промежуточное место между полицейским и офицером. Он смущенно откланялся, спрятал письмо в большой, купленный в Лондоне портфель с серебряным замком и поехал в отделение имперской разведки.

По двору особняка прогуливались два господина в штатском платье. Они немедленно остановили Штааля у ворот. Один из них чрезвычайно вежливо спросил молодого человека, взял письмо и затем, предложив подождать несколько минут во дворе, вошел в особняк. Другой господин продолжал гулять по двору, в нескольких шагах от Штааля. Вежливый разведчик скоро вернулся и, необыкновенно любезно улыбаясь, сказал, что господин полковник просит пожаловать.

Как только Штааль вошел в переднюю, он услышал лившиеся сверху приятные звуки клавесина. Кто-то очень хорошо и с большим чувством играл «Ave verum corpus» Моцарта. По лестнице, покрытой мягким толстым ковром, Штааль, в сопровождении вежливого господина, поднялся во второй этаж и вошел в небольшой салон, убранный в старом, давно вышедшем из моды даже вне Франции, стиле Людовика XIII. Звуки оборвались, и из-за клавесина встал очень грузный военный, с выразительным, потасканным, но чрезвычайно благодушным с виду лицом, на котором виднелся белый шрам через всю левую щеку. Штааль совершенно иначе представлял себе шефа тайной полиции. Ему казалось, что у сыщиков всегда бывают мрачные физиономии с бегающими глазами, никогда не смотрящими прямо на собеседника. У полковника же глаза были голубые, взгляд открытый и почти наивный. Он смотрел на Штааля, приятно улыбаясь, и, казалось, увлеченный музыкой, еще ничего не видел перед собой. На самом деле он в первое же мгновение разглядел и запомнил на всю жизнь все подробности внешности Штааля, от его глаз (не поддающейся изменению и потому наиболее важной для сыщиков отличительной черты человека) до сапог и перчаток. Полковник с особенной приятностью, точно старому знакомому, пожал обеими руками руку Штааля, обдав его крепким запахом духов – модной смеси мускуса и амбры. Руки у начальника разведки были громадные, волосатые, очень мягкие и теплые. Усаживая молодого человека в кресло рядом с клавесином, он взял его портфель и рассеянно повертел в руках, подавливая в разных местах кожу пальцами. Затем так же рассеянно вернул портфель Штаалю и сам сел, тесно придвинув свой стул к креслу посетителя.

– Чем могу служить? Сердечно буду рад сделать все возможное для его превосходительства, – сказал он улыбаясь, – в углу рта у него сверкнуло золото (это тогда было большой редкостью). – Пожалуйста, подробно, подробно изложите ваше желание. Приказывайте...

Полковник превосходно говорил по-французски, но французская картавость, выходящая у него по-немецки очень растянутой и мягкой, мучительно резнула слух Штааля.

Молодой человек кратко сказал, что просьба его, вероятно, изложена в письме: он хочет перейти линию французского фронта. Выслушав это сообщение, полковник помолчал, как бы ожидая продолжения.

– По какому же делу изволите ехать? – нежно улыбаясь, спросил он наконец, убедившись, что сам гость больше ничего не намерен сказать.

– Дело мое известно британскому военному агенту, – ответил Штааль.

Улыбка полковника расплылась еще нежнее.

– Видите ли, сударь, – сказал он. – Очень легко, конечно, перейти фронт. Но ведь надо знать, *как* вы его перейдете. Ну хоть в каком платье? Если вы предполагаете *работать* в армии, мы можем вам предложить любой французский мундир. Если вы желаете быть *там* гражданским лицом, я бы позволил себе рекомендовать вам республиканский кафтан, хоть карманьолу, что ли. Когда б я имел честь знать лучше ваши намерения, мой опыт мог бы вам очень и очень пригодиться.

– А у вас есть карманьолы? – живо спросил Штааль. Он не раз слышал это слово, но не знал в точности, что такое карманьола: не то песня, не то платье.

– У нас все есть, – сказал, ласково улыбаясь, полковник, – и все в вашем полном распоряжении. Да вот, извольте выбрать сами. Принесите сюда платье, – строго приказал он вежливому разведчику.

Разведчик закивал головой и вышел из комнаты. Штааль, желая избежать расспросов, небрежно рассматривал ноты клавесина.

– Извольте, сударь, знать эту вещицу? – любезно обратился к нему хозяин, наклоняясь над Штаалем и обдавая его снова острым запахом мускуса. – Одна из последних господина Моцарта. Верно, слышали, бедняга не так давно умер. Мы очень с ним были хороши; я ему даже заказал в свое время пьеску для моих часов с музыкой. Хорошенькая пьеска, и покойный недорого взял с меня по знакомству. Надо вам сказать, я очень, очень люблю музыку и еще больше литературу. Особенно Жан-Жака Руссо, – это мой кумир... Жаль, жаль беднягу Моцарта. Теперь у нас остались только братья Гайдны, да еще Сальери. Впрочем, из молодых есть способные музыканты. Родственнице моей дает уроки ван Бетховен, – недавно приехал к нам в Вену, очень, очень способный юноша, хоть большой чудак. И представьте, совершенно не любил в детстве музыки. Но отец порол его до тех пор, пока он не полюбил; теперь славные пишет вещицы и играет очень бойко. Вот что значит хорошее воспитание. Немного старше вас будет... А вы давно извольте состоять на секретной службе?

– Не очень давно, – ответил Штааль.

Вежливый разведчик, слегка запыхавшись, вернулся в комнату и раскрыл на столе большой чемодан с какой-то короной на потертой зеленой коже. В чемодане лежало несколько свертков в белой чистой бумаге, аккуратно заколотой булавками, как у прачек. Полковник поднялся с места, взял один сверток, взглянул на пометку, сделанную на бумаге синим карандашом, и вытянул булавки.

– Ну, вот штатский костюм, парижского кроя, на ваш рост как раз подойдет, – сказал он, обмеривая Штаала взглядом. Только при этом Штааль заметил, какого огромного роста был начальник разведки, показавшийся ему в первую минуту лишь очень грузным. Круглые плечи его были так широки, что на них могли бы уместиться четыре головы.

– Как раз на вас костюм, точно по мерке шит, – повторил полковник и вдруг бросил сверток на стол. Лицо у него сразу совершенно переменилось; старый шрам на щеке выделился розовой полосой, а голубые глаза внезапно стали темно-стеклянными и страшными.

– Что за ослы! – сказал он по-немецки разведчику, не повышая голоса (разведчик, однако, вдруг побледнел). – Господи, что за ослы!.. Сколько раз я говорил: перед расстрелом раздевать... Этакое дурачье! Думают, что заштопали шесть дыр на кафтане, так там никто ничего не заметит. У них жандармы, может быть, получше наших. Не хотят раздевать, так пусть пробаваются одними повешенными. Этакие подлецы! Подводят людей под топор!..

Штааль с невольным ужасом уставился на кафтан. На груди и ниже ее действительно были заметны плохо заштопанные, точно прожженные, круглые дыры.

– С тех двух, что утром повесили, где платье? – резко спросил своего подчиненного полковник.

– В чистке, еще не успели... – ответил вежливый господин, не сводя глаз с начальника.

Полковник повернулся к Штаалу. Стеклянные глаза мгновенно приняли прежнее наивно-добродушное выражение. Заметив ужас на лице молодого человека, начальник разведки усмехнулся.

– Понимаю, сударь, ваши чувства, – сказал он, – я и сам очень, очень чувствительный человек... К несчастью, нам трудно заказывать для наших сотрудников новое платье: ни денег, ни времени нет, да и покроя так не подделают. Военных мундиров у нас сколько угодно – пленных, слава Богу, достаточно, а насчет карманьол хуже. Берем, где можем. Вот сегодня два

комиссарчика нашлись, задержались как-то в Брюсселе... Вещи повешенного, как вы знаете, приносят счастье... Впрочем, если вы брезгуете, мы найдем вам новенькую карманьолу. Ну, хоть эта, – видите пометку, – взята в чемодане.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.